SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Юлий Германович Малис
  -
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ИСТОЧНИКИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Юлий Германович Малис Николай Пирогов. Его жизнь, научная и общественная деятельность

Биографический очерк Ю. Г. Малиса

С портретом Пирогова, гравированным в Петербурге К. Адтом

ГЛАВА I

Раннее детство. – Домашняя обстановка. – Обучение азбуке по карикатурам на французов. – Раннее чтение. – Первые учителя. – Пансион Кряжева. – Разорение семьи Пироговых. – Совет Е. О. Мухина. – Поступление в университет

13 ноября 1810 года у казначея московского провиантского депо Ивана Ивановича Пирогова происходило весьма частое в его семейной жизни торжество: у него родился тринадцатый ребенок, мальчик Николай, будущий “хирург-мыслитель”. “Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего”,– говорит по этому поводу в своих “Записках” сам Николай Иванович.

Родители Пирогова жили в то время в собственном домике в приходе Троицы, в Сыромятниках. Через два года, во время нашествия французов, семья Пироговых, как и остальное население Москвы, должна была бежать из города; Пироговы поехали во Владимир. По возвращении в Москву отец Пирогова построил новый дом.

Обстановка, в которой протекало детство Пирогова, была чрезвычайно благоприятна. Отец его был отличный семьянин; он, как и мать, горячо любил детей. Средства к жизни были более чем достаточны – отец сверх порядочного по тому времени жалованья занимался еще и ведением частных дел. Вновь отстроенный дом был просторный и веселый, с небольшим, но хорошим садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрасил стены комнат и даже печки фресками какого-то доморощенного живописца, а сад – беседочками и разными садовыми играми. В саду были кегли, игры в крючки и кольца. Нет ничего удивительного, что Пирогов с живостью и удовольствием вспоминает о своем детстве и говорит, что жизнь его ребенком до 13 лет была весела и привольна, а потому не могла не оставить одни приятные воспоминания.

Такая жизнь давала ребенку возможность свободно развиваться, и результатом ее было то, что мальчик в шесть лет выучился грамоте – шутя, по карикатурам на французов, изданным в виде азбуки в картинках. Научившись читать, мальчик набросился, конечно, на чтение, и чтение детских книг было для него истинным наслаждением. Им овладело, как выражаются немцы, Lesewuth – бешенство чтения. Масса детских книг, бывших тогда в ходу (“Зрелище вселенной”, “Золотое зеркало для детей”, “Детский вертоград”, “Детский магнит”,

“Пальнаевы и Эзоповы басни”) были проглочены и потом прочитаны по несколько раз. Отец обыкновенно делал детям подарки книгами. Особенно сильное впечатление произвело на мальчика “Детское чтение” Карамзина, так что в своих “Записках” Пирогов даже называет по именам разных действующих там лиц, и этот подарок отца считает самым лучшим в своей жизни. Басни Крылова также очень нравились мальчику. Один из гостей дома Пироговых читал эти басни очень хорошо. Маленький Коля выучил сам “Квартет”, “Демьянову уху”, “Тришкин кафтан”; “как видно, – пишет знаменитый ученый, – нравились мне наиболее юмористические”, вероятно, благодаря тому, что грамоте он учился по юмористическим картинкам на обращенных в бегство французов.

В такой привольной и довольно интеллигентной обстановке прошло домашнее воспитание Пирогова до поступления в школу. Мальчик занимался только тем, что его интересовало само по себе. На это жалуется семидесятилетний старик в своих “Записках”, говоря, что культурой его внимательности никто и не думал заниматься, и считая это главным пробелом своего первоначального воспитания.

До девяти лет с мальчиком занимались мать и сестра, потом он перешел в руки учителей. Первым его учителем русского языка был студент университета. “Я помню довольно живо, – говорит Пирогов, – молодого красивого человека и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице… Воспоминания о щеках, улыбке, туго накрахмаленных воротничках и белых с тоненькими, синенькими полосками панталонах моего первого учителя как-то слились в памяти с понятием о частях речи”. Следующие два учителя, студент Московской медико-хирургической академии, занимавшийся латинским, и другой – французским языком, не оставили и таких внешних впечатлений. Этот педагогический триумвират оставил в памяти Пирогова очень немного и, следовательно, для развития его сделал очень мало.

Одной из любимых игр мальчика была игра в лекаря… Возникновением своим эта весьма оригинальная игра обязана болезни старшего брата Николая Ивановича, к которому был наконец приглашен профессор Е. О. Мухин, имевший большое значение в дальнейшей жизни Пирогова. Обстановка визита знаменитости и поразительный эффект лечения произвели сильное впечатление на бойкого и развитого мальчика. Долгое время в доме Пироговых только и было разговору о Мухине и его визите. В один прекрасный день маленький Пирогов “попросил кого-то из домашних лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку

доктора, важно подошел к мнимобольному, пощупал пульс, посмотрел на язык, дал какой-то совет, вероятно, также о приготовлении декокта, распрощался и вышел преважно из комнаты". Это представление забавляло, разумеется, домашних и вызывало частые повторения. Будущий великий клиницист усовершенствовался и "стал разыгрывать роль доктора, посадив и положив нескольких особ, между прочим, и кошку, переодетую в даму: переходя от одного мнимобольного к другому, он садился за стол, писал рецепты и толковал, как принимать лекарства". "Не знаю, – говорит Пирогов, – получил ли бы я такую охоту играть в лекаря, если бы вместо весьма быстрого выздоровления брат мой умер".

На двенадцатом году Пирогова отдали в частный пансион Кряжева. В. С. Кряжев занимал довольно видное место среди московских педагогов того времени. В 1811 году он открыл в Москве частный пансион "Своекоштное отечественное училище для детей благородного звания". Программа пансиона была довольно широкая, потому что целью его учреждения было "доставить родителям средства воспитать детей их так, чтобы они могли быть способными для государственной службы чиновниками". Курс был шестилетний, распадавшийся на три разряда или класса, по два года в каждом. Пансион Кряжева пользовался очень хорошей репутацией и считался одним из лучших частных пансионов. В 1822 году, 5 февраля, Пирогов поступил сюда полупансионером. О своем пребывании в пансионе он сохранил весьма хорошие воспоминания, в особенности, о самом директоре Кряжеве, преподававшем новые языки, и о преподавателе русского языка Войцеховиче. Впоследствии ученик и учитель встретились в клинике, где Войцехович лежал больной. Войцехович был тронут посещением Пирогова и крайне удивлен, что он пошел по медицинскому факультету, а не словесному. Во время пребывания в пансионе Кряжева Пирогов основательно познакомился с русским и французским языками. Латинский язык, который он знал впоследствии превосходно, проходился в пансионе Кряжева плохо по вине неумелого преподавателя-священника.

Во время пребывания Пирогова в пансионе Кряжева на его семью обрушился ряд душевных и материальных катастроф: смерть сестры и брата, растрата казенных денег другим братом и, наконец, вынужденный выход в отставку отца Пирогова. Последнее, разумеется, было тяжелым материальным ударом и произошло по следующим обстоятельствам. Один из чиновников комиссариата был отправлен на Кавказ, чтобы отвезти туда 30 тыс. руб. Он вместе с деньгами исчез бесследно, и И. И.

Пирогов как казначей неизвестно почему был привлечен к ответственности и должен был возместить значительную часть этой суммы. Все имение и все наличное имущество были описаны и взяты в казну. Материальное положение семьи пошатнулось, и Николая пришлось взять из пансиона Кряжева, где плата за ученье была довольно высокая. Не желая все-таки испортить карьеру мальчика, по отзывам учителей, способного, отец Пирогова вздумал обратиться за советом к Е. О. Мухину, уже поставившему одного из его сыновей на ноги, – авось, поможет и другому.

Мухин принял участие в судьбе юноши и, как увидим ниже, благодетельно повлиял на его дальнейшую карьеру. Мухин посоветовал отцу Пирогова готовить своего четырнадцатилетнего сына прямо к вступительному экзамену на медицинский факультет Московского университета. Согласно этому совету Пирогов, “еще накануне игравший со своими школьными товарищами в саду в солдаты, причем отличился изумительною храбростью, разорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков”, был взят из пансиона Кряжева, пробыв там лишь около двух лет.

Для приготовления его к экзамену пригласили студента медицины, кончающего курс, Феоктистова, доброго и смирного человека, как характеризует его в своих воспоминаниях Пирогов. Этот студент поселился у Пироговых и занимался с Николаем главным образом латинским языком.

Из знакомых, бывавших в то время у отца Пирогова, особенно интересовали его двое: Григорий Михайлович Березкин и Андрей Михайлович Клаус, оба из врачебного, правда низшего, персонала Московского воспитательного дома. Березкин толковал с будущим медиком о медицине, подарил ему какой-то составленный на латинском языке сборник с описанием в алфавитном порядке лекарственных трав. Словоохотливый Березкин – большой шутник – потешал мальчика своими постоянными шутками и прибаутками. Клаус, знаменитый оспопрививатель екатерининских времен, был оригинальнейшая и известная тогда в Москве личность. Имея большую практику в семье И. И. Пирогова, у которого было 14 человек детей, старик Клаус обязательно навещал Пироговых в табельные дни. Любознательного мальчика он особенно занимал имевшимся всегда при нем маленьким микроскопом.

“Раскрывался, – вспоминает Пирогов, – черный ящик, вынимался крошечный, блестящий инструмент, брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглой, клался на стеклышко, и все это делалось тихо, чинно, аккуратно,

как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца минуту, когда он приглашал взглянуть в его микроскоп.

– Ай, ай, какая прелесть! Отчего это так видно, Андрей Михайлович?

– А это, дружок, тут стекла вставлены, что в 50 раз увеличивают. Вот, смотри-ка, – следовала демонстрация".

Занятия с Феоктистовым не были обременительны и шли успешно. Ученик детски радовался, что готовится в университет, и занимался прилежно. Ему доставляло наслаждение рассматривать медицинские книги Феоктистова. А когда однажды Феоктистов принес каталог университетских лекций, будущий студент разбирал его с каким-то невыразимо-приятным трепетом и расспрашивал своего ментора, какие лекции он будет слушать, поступив в университет.

Желанный момент наконец наступил. 11 сентября 1824 года в правление Московского университета поступило собственноручное прошение Пирогова:

"Родом я из обер-офицерских детей, сын комиссионера 9-го класса, Ивана Пирогова, от роду имеется мне 16 лет, обучался на первое в доме родителей моих, а потом в пансионе г-на Кряжева: Закону Божию, российскому, латинскому, немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике и геометрии. Ныне же желаю учение мое продолжать в сем университете в звании студента; почему правление Императорского московского университета покорнейше прошу допустить меня по надлежащем испытании к слушанию профессорских лекций и включить в число своекоштных студентов медицинского отделения. Свидетельство же о роде моем и летах при сем прилагаю".

Приложенное вместо метрики свидетельство, выданное 4 сентября 1824 года из комиссии Московского комиссариатского депо, удостоверяло, что Николай Пирогов имеет ныне от роду "шестнадцать лет". Ему не было еще полных 14, и лета его были показаны неверно, чтобы открыть доступ в университет: в то время никто не мог вступить в студенты, не имея 16 лет от роду. В числе представленных документов находилось и свидетельство из пансиона Кряжева о двухгодичном пребывании там Пирогова.

"Вступление в университет, – говорит Пирогов, – было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий на бой, на жизнь или смерть, осилил и победил волнение и шел хладнокровно". На экзамене в качестве декана факультета присутствовал и Мухин, что действовало ободряющим образом на экзаменующегося. Экзаменаторами были профессора Мерзляков,

Котельницкий и Чумаков. Экзамен прошел благополучно. Профессора остались довольны ответами и подали в таком смысле донесение правлению университета. Студента-ребенка отец повез в кондитерскую и угостил шоколадом.

ГЛАВА II

Московский университет 20-х годов. – Профессора, студенты. – Десятый номер. – Смерть отца. – Окончательное разорение семьи. – Предложение Е. О. Мухина записаться в профессорский институт. – Выбор хирургии своею специальностью. – Лекарский экзамен. – Петербург. – Экзамен в Академии наук. – Отправка в Дерпт

Московский университет двадцатых годов представлял собою по составу профессоров довольно безотрадное зрелище. За весьма немногими исключениями большинство профессоров отличалось своею бездарностью, отсутствием знаний и совершенно чиновничьим отношением к делу преподавания. Такие преподаватели не могли импонировать своим слушателям и заинтересовать их. Они вносили, по выражению Пирогова, в университетское преподавание “комический элемент”.

Одни из этих почтенных ученых вместо изложения науки занимали студентов семейными хрониками и проповедями о нравственности. Другие “читали” студентам не лекции и даже не свои тетрадки (записки), а просто-напросто старые учебники, да и то с ошибками. У третьего “комика” в начале каждой лекции прочитывался протокол предыдущей лекции: “На прошедшей лекции 1824 года такого-то числа Василий Григорьевич такой-то, надворный советник и кавалер, излагал своим слушателям то-то и то-то…” На лекциях этих профессоров-чудаков собирались студенты разных факультетов ради потехи и, как истые школьники, превращали сами лекции в балаганные представления. Благодарный материал для студенческих проказ заключался в тогдашней системе контроля занятий студентов, в системе перекличек по спискам на лекциях. Некоторые профессора, придерживаясь усердно системы перекличек, получили наконец неизъяснимое отвращение к тем слушателям, которые не значились в списках. Этою антипатией к посторонним слушателям, к чужакам, как их называли, и пользовались студенты. Они нарочно приводили в аудитории профессоров-чужеедов посторонних лиц, а потом уже во время лекции заявляли о присутствии “чужаков” и устраивали изгнание пришельцев с достаточным шумом и гамом.

Внешние отношения профессоров со студентами на лекциях носили на себе характер какой-то патриархальной халатности. Профессора говорили слушателям “ты”, острили над ними. Так, Мудров, один из выдающихся тогдашних профессоров

медицинского факультета, однажды на лекции о нервной психической болезни учителей и профессоров, обнаруживающейся какою-то непреодолимою боязнью уже при входе в аудиторию, сказал своим слушателям: “А чего бы вас-то бояться, ведь вы – бараны”, а аудитория наградила его за эту остроту общим веселым смехом.

Нечего и говорить, что преподавание естественных и медицинских наук было совершенно лишено демонстрационного характера. Лекции читались по руководствам 1750-х годов, когда даже в руках у студентов были более новые учебники текущего столетия. Единственное почти исключение составляло преподавание анатомии. Профессором анатомии был тогда в Московском университете Юст Христиан Лодер, личность оригинальная, выдающаяся и европейская знаменитость. Его наглядное и демонстрационное преподавание заинтересовало Пирогова, и последний с увлечением занимался анатомией, но только теоретически, потому что практических занятий на трупах (препарирование) в то время не существовало.

Другую основную науку медицинского факультета – физиологию – читал Ефрем Осипович Мухин, игравший столь значительную роль в судьбе Пирогова. Мухин был, собственно, специалистом по внутренним болезням и имел в Москве громадную практику. К профессорским обязанностям он относился по-своему добросовестно и прочитывал свою физиологию (по иностранному руководству с добавлениями и комментариями) от доски до доски. Лекции Мухина не отличались, по-видимому, ни содержательностью, ни формой, потому что Пирогов, аккуратно посещая их в течение четырех лет, “ни разу не мог дать себе отчет, выходя с лекции, о чем, собственно, читалось; это он приписывал собственному невежеству и слабой подготовке, ни разу не усомнившись в глубокомыслии наставника”.

Клиницисты-профессора того времени не могли оказать особенное влияние на Пирогова. Терапевт М. Я. Мудров, тогдашняя московская знаменитость, принес ему пользу только тем, что беспрестанно толковал о необходимости учиться патологической анатомии, о вскрытии трупов и тем поселил в нем желание познакомиться с этою наукой. Хирург Ф. А. Гильдебрандт, искусный и опытный практик, остряк, как профессор, однако, был из рук вон плох. Он так сильно гнусавил, что, стоя в двух-трех шагах от него, на лекции нельзя было понять ни слова, тем более что он читал и говорил всегда по-латыни. Лекции его и его адъюнкта Альфонского состояли в перефразировке изданного Гильдебрандтом тощего учебника

хирургии на латинском языке. Об упражнениях в операциях на трупах не было и помину. Из операций на живых Пирогову случилось видеть несколько раз только литотомию (вырезывание камней) у детей и только однажды – ампутацию голени.

Гораздо сильнее, нежели влияние профессоров, было на мальчика-студента влияние старших товарищей. Ввиду отдаленности дома Пироговых от университета он проводил обеденное время у своего бывшего учителя Феоктистова и только вечером, то есть в 4–5 часов, возвращался домой. Феоктистов был казеннокоштным студентом и жил в общежитии с пятью другими товарищами в № 10 корпуса студенческих квартир. Впечатления, вынесенные из ежедневных посещений десятого номера, были чрезвычайно разнообразны. “Чего я не насмотрелся и не наслушался в 10 нумере!” – говорит Пирогов. Споры об отвлеченных предметах, о политике, чтение запрещенных стихотворений Рылеева и других, вплоть до легкомысленных произведений поэта-студента Полежаева, дикие кутежи в дни получки денег – вот жизнь “десятого нумера”. Шум и гам, царившие в общежитии казенных студентов в первых числах каждого месяца, доходили до таких гомерических размеров, что, по словам Пирогова, проходящие мимо этого питомника детей Аполлона крестились и отплевывались. В такую-то бесшабашную компанию попал 14-летний Пирогов прямо из детской комнаты, из семьи, где соблюдались все посты, вся обрядовая часть религии. Влияние “десятого нумера” было громадно, оно обусловило перелом нравственный и умственный в богато одаренной натуре Пирогова, оно дало могучий толчок его развитию, очень расширив его кругозор. Даже кутежи “десятого нумера” сослужили Пирогову ту службу, что впоследствии, в Дерпте, бьющий часто через край разгул студенческой жизни не представлял для него уже ничего нового и увлекательного. Кутежи в Дерпте, где Пирогов был вполне уже самостоятельным человеком и находился вне влияния родной семьи, могли бы иметь для него роковое значение, как и для многих русских юношей, попадавших в Дерпт прямо с гимназической или школьной скамьи.

С “десятым нумером” связан также эпизод, характеризующий, каким еще ребенком был Пирогов в первое время студенчества и как этот ребенок жаждал знания. Один из студентов “десятого нумера” предложил ему купить прекрасно составленный гербарий за 10 рублей ассигнациями. Пирогов в восхищении от покупки и вне себя от радости привез домой гербарий и стал показывать домашним растения и объяснять их. Когда оказалось, однако, что за эту драгоценность следует заплатить 10 рублей, то поднялась

целая буря. Мать назвала эту покупку самоуправством, легкомыслием, расточительностью и пригрозила, что отец не даст денег. “Я, – пишет Пирогов, – в слезы, ухожу к себе, ложусь в постель и плачу навзрыд, и так целый вечер, нейду ни к чаю, ни к ужину; приходят сестры, уговаривают, утешают. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекции”. Наконец, благодаря ходатайству сестер дело уладилось. Юный ученый долго занимался этим гербарием; не зная ботаники, он заучил на память наружный вид многих растений, в особенности медицинских; летом экскурсировал и дополнял свою коллекцию.

Кроме гербария, Пирогов приобрел в “десятом нумере” кости.

“Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опоражнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок десятого нумера по ящикам пустого комода, а моя нянюшка, случайно пришедшая к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то; когда же я стал ей демонстрировать, очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и надбровные дуги, то она только качала головой и приговаривала: “Господи Боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник”.

Во время студенчества Пирогова материальное положение семьи пришло в окончательный упадок. Выход в отставку сильно повлиял на старика-отца, подорвал его энергию и потому неблагоприятно отразился на занятиях частными делами. В конце первого года студенчества (1 мая 1825 года) отец Пирогова внезапно умер. Уже через месяц после смерти отца семья, состоявшая из матери, двух сестер и студента Николая, должна была предоставить дом и все, что в нем находилось, казне и частным кредиторам. Выброшенной буквально на улицу семье помог троюродный дядя Пирогова Андрей Филимонович Назарьев, заседатель какого-то московского суда, живший с многочисленным своим семейством в маленьком собственном домике, в котором он уступил мезонин с тремя комнатами и чердаком осиротевшей семье Пироговых. Назарьев представлял собой “тип небольшого чиновника-муравья”. “Эта добрейшая и тишайшая душа, – говорит Пирогов, – поил иногда и меня чаем в ближайшем трактире, когда я заходил в суд у Иверских ворот, отвозил меня иногда на извозчике из университета домой и однажды – этого я никогда не забывал, – заметив у меня отставшую подошву, купил мне сапоги”. Впоследствии, будучи уже профессором в Дерпте, Пирогов, желая отблагодарить А. Ф. Назарьева “не столько за даровой приют, сколько за сапоги”, взял к себе на воспитание его маленького сына. Попытка отблагодарить таким путем дядю не увенчалась успехом: из

мальчика ничего не вышло. Впоследствии Пирогову говорили, что его воспитанник получил место в московской полиции. “Мог ли я ожидать, – восклицает по этому поводу Пирогов, – что сделаюсь воспитателем квартальных”. В доме дяди Пироговы прожили год, а потом они наняли квартиру и держали жильцов. Мать и сестры, кроме того, занимались мелкими работами, одна из сестер поступила надзирательницей в какое-то благотворительное детское заведение. Уроки давать Пирогов не мог, потому что одна ходьба в университет и обратно занимала четыре часа времени. “Летом в сухую погоду, куда ни шло, я бегал по Никитской исправно, но в грязь осенью, ночью, ой, ой, ой, как плохо приходилось мне, бедному мальчику!” – вспоминает знаменитый хирург. К тому же и мать была против того, чтобы он работал на себя, и слышать не хотела, чтобы он сделался стипендиатом или казеннокоштным, считая это чем-то унизительным. “Ты будешь, – говорила, – чужой хлеб заедать; пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашем”.

Впрочем, расходы на университет были тогда невелики: платы за слушание лекций не полагалось, мундиров не существовало. Когда позднее ввели мундиры, сестры сшили Пирогову из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником, и Пирогов, чтобы не обнаруживать несоблюдения формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник.

Семье помогал также крестный отец Пирогова, московский именитый гражданин, Семен Андреевич Лукутин.

Так перебивалась семья, с хлеба на воду, и благодаря самоотверженности матери и обеих сестер будущему светилу русской медицины удалось пройти университетский курс. “Как я или лучше мы, – говорит Пирогов, – пронищенствовали в Москве, во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой”.

В конце 1822 года последовало Высочайшее повеление об учреждении при Дерптском университете института “из двадцати природных россиян”, предназначенных для замещения со временем профессорских кафедр в четырех русских университетах.

Идея учреждения профессорского института принадлежала академику Парроту и была вызвана необходимостью обновить состав профессоров научно подготовленными силами. Кроме немногих иностранных знаменитостей, приглашенных в Россию, профессора во всех русских университетах принадлежали к типу московских “комиков”. Один только Дерптский университет стоял в то время на подобающей научной высоте. Поэтому Паррот, бывший раньше профессором физики в Дерптском университете,

и выработал проект, чтобы окончивших курс в разных университетах отправляли в Дерпт на два года для специального изучения какой-либо науки. После двухлетнего пребывания в Дерптском университете молодые ученые посылались еще на два года за границу и по возвращении оттуда назначались профессорами. Выбор студентов и окончивших университетский курс для отправления в профессорский институт предоставлялся советам университетов. Всех кандидатов отправляли за казенный счет в Петербург, где они подвергались контрольному испытанию в Академии наук по своей специальности. По выдержании этого испытания они посылались в Дерпт, в противном же случае с совета соответствующего университета взыскивались деньги, издержанные на отправление кандидатов в Петербург.

Как только Московский университет получил предписание министра о выборе кандидатов в профессорский институт, Е. О. Мухин вспомнил о своем protйgй и предложил ему ехать в Дерпт. Пирогов тотчас согласился и выбрал своею специальностью хирургию. Быстрое решение Пирогова обусловливалось тем, что его тяготило семейное положение, что он – на руках матери и сестер, а также и тем, что “московская наука, несмотря на свою отсталость и поверхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее вперед”. Окончание курса не сулило впереди никакого обеспеченного положения ввиду отсутствия средств и связей, а между тем даровитого юношу обуревало “неотступное желание учиться и учиться”. Что касается выбора специальности, то Пирогов ввиду того, что другая наука, кроме забракованной Мухиным физиологии, основанная на анатомии, есть *хирургия* и только хирургия, остановился на последней. В своих воспоминаниях Пирогов сам ставит вопрос: “А почему не саму анатомию? А вот поди, узнай у самого себя, почему? Наверное не знаю, но мне сдается, что где-то издалека какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию. Кроме анатомии есть еще и жизнь, и, выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом”.

Когда Пирогов был уже записан в число кандидатов профессорского института, он объявил своим домашним торжественно и не без гордости: “Еду путешествовать за казенный счет”.

К радости юного кандидата, мать и сестры, хотя и опечаленные неожиданным известием, не оказали противодействия. Пирогов стал готовиться к лекарскому экзамену. Последний прошел для него легко, даже легче обыкновенного весьма поверхностного, может быть, потому, что его назначение в кандидаты профессорского института считалось

уже эквивалентом лекарского испытания.

В мае 1828 года Пирогов сдал экзамен на степень лекаря первого отделения, и через два дня все московские кандидаты профессорского института в числе семи человек отправились в Петербург.

По приезде в Петербург будущим профессорам, остановившимся сначала в какой-то гостинице, отвели пустующее помещение в тогдашнем университетском доме. Потом они представлялись сперва директору департамента Д. И. Языкову, от которого получили приглашение на обед, прошедший крайне скучно и безмолвно, а затем – министру народного просвещения, князю Ливену.

Уже после всего этого был назначен экзамен в Академии наук. Пирогова экзаменовал профессор Буш. Профессора Буш и Велланский были приглашены из Медико-хирургической академии для экзамена врачей. Кандидаты побаивались этого экзамена и были бесконечно рады, когда экзамен прошел благополучно.

За несколько дней до начала II семестра 1828 года Пирогов и его товарищи по профессорскому институту прибыли в Дерпт. Отправлялись из Москвы вместе с Пироговым: Шиховский – по ботанике, Сокольский – по терапии, Редкин – по римскому праву, Корнух-Троцкий – по акушерству, Коноплев – по восточным языкам и Шуманский – по истории; из них в Академии наук по окончании испытания двое, Коноплев и П. Г. Редкин, были найдены “ненадежными”. Последний, однако же, поехал в Дерпт за свой счет.

ГЛАВА III

Приезд в Дерпт. – В. М. Перевощиков, наблюдатель за “профессорскими” студентами. – Семейство профессора Мойера. – Научные занятия. – Получение золотой медали. – Докторский экзамен. – Поездка в Москву. – Диссертация. – Отъезд за границу и тамошние занятия. – Влияние Лангенбека. – Возвращение в Россию. – Болезнь в Риге. – Приезд в Дерпт. – Потеря кафедры в Москве

В Дерпте “профессорские студенты” нашли приготовленные уже для них заранее квартиры. Пирогов поселился вместе с Корнух-Троцким и Шиховским, в довольно глухом месте, почти наискосок напротив дома профессора хирургии Мойера. Присланные в профессорский институт находились “под командой” профессора русского языка В. М. Перевощикова, перешедшего в Дерпт из Казани. Это был тип сухого, безжизненного, скрытного бюрократа из школы Магницкого, влияние которого прочитывалось на всей его деятельности и даже на самой физиономии. Перевощиков повел будущих ученых гурьбой по профессорам. Для Пирогова было самым отрадным посещение дома профессора Мойера.

Иоганн Христиан Мойер, или, как его по-русски звали, Иван Филиппович Мойер, занимавший тогда кафедру хирургии в Дерптском университете, был, по мнению самого Пирогова, замечательною и высокоталантливой личностью. Для характеристики его он прибегает к весьма меткому выражению: “талантливый ленивец”. Воспитанник Дерптского университета, Мойер, вскоре по окончании курса в 1813 году, отправился в Павию к знаменитому хирургу Антонио Скарпа. Продолжительные занятия у Скарпа и посещение госпиталей Милана и Вены сделали из Мойера основательно образованного хирурга. Как профессор и хирург Мойер своим практическим умом и обширными знаниями принес Пирогову большую пользу. Лекции Мойера отличались простотой, ясностью и пластичной наглядностью изложения. Как оператор он владел истинно хирургической ловкостью, не суетливою, не смешною и не грубою.

Ко времени прибытия в Дерпт Пирогова Мойер значительно уже поохладел к науке и более интересовался орловским имением своей покойной жены, нежели хирургией. Появление студентов профессорского института, посвятивших себя изучению хирургии, в особенности пылкое отношение к занятиям со

стороны Пирогова, оживило Мойера.

Семья Мойера состояла из его тещи и семилетней дочери Кати. Теща Мойера, Екатерина Афанасьевна Протасова, урожденная Бунина, сестра поэта Жуковского, заинтересованная, вероятно, молодостью и неопытностью Пирогова, взяла его под свое покровительство. В доме Мойера Пирогов познакомился с Жуковским. Благодаря заступничеству Екатерины Афанасьевны ему счастливо обошлась история с Перевощиковым. Дело в том, что Перевощиков считал своею обязанностью посещать студентов в разное время и внезапно. В один из таких визитов, когда он беседовал с сожителями Пирогова, последний, не заметив визитера, прошел прямо с улицы в свою комнату в шапке. Объяснив это неуважением к начальству, Перевощиков послал в конце семестра в Петербург донесение, весьма неблагоприятное для будущего профессора. Последствия могли быть удручающими, однако Мойеру удалось оправдать своего ученика.

Эта история еще теснее сблизила Пирогова с семьей Мойера. Екатерина Афанасьевна пригласила молодого человека постоянно обедать у них, а перед переездом на квартиру в клинику он прожил в доме Мойера даже несколько месяцев.

В клинике Пирогов прожил четыре года до самого отъезда за границу в одной комнате с другим профессорским студентом, Ф. И. Иноземцевым. Резкая разница во всем складе характера, а также значительная разница лет исключали всякую возможность сближения между двумя молодыми людьми. Прожив столько лет вместе, они остались совершенно чуждыми друг другу. Впоследствии Иноземцев занял обещанную Пирогову кафедру хирургии в Московском университете.

Дерптская жизнь Пирогова сложилась очень скромно. Весь погрузившись в занятия анатомией и хирургией, молодой ученый немногие свободные часы проводил преимущественно у Мойеров.

Научный багаж, который привез Пирогов из Москвы в Дерпт, был довольно легковесен. Но взамен того он привез с собой страстное желание учиться и неодолимую жажду знания. Во время московского студенчества Пирогов занимался больше всего анатомией, интерес к которой в нем возбудил талантливый и глубоко образованный преподаватель ее в Московском университете Лодер. Приехав в Дерпт, Пирогов, никогда раньше не занимавшийся анатомией практически, не сделавший ни одной операции ни на живом, ни даже на трупе, не видевший вовсе операций на трупе, с жаром принялся прежде всего за препарирование и за операции на трупе. То обстоятельство, что Пирогова в первое время тянуло более к секционному, нежели к операционному столу, указывает на то, что он, по выражению

Гиртля, считал путь к кафедре хирургии лежащим через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир. Не имея ни малейшего представления об экспериментальных научных занятиях, Пирогов с увлечением стал экспериментировать, стараясь решать вопросы клинической хирургии путем опытов над животными. Он желал, таким образом, прежде, нежели подвергнуть живого человека оперативному вмешательству, уяснить себе, как переносит подобное вмешательство организм животного. Он не смотрел на больного как на chair de bistouri,[1] благодаря которому можно легко приобрести себе громкое имя. Такая постановка занятий указывала на глубоко научное направление 18-летнего юноши, на его стремление всесторонне и вполне освоиться с вопросом прежде, чем применять свои знания у постели больного.

В первое же полугодие Пирогов взял у прозектора анатомического института, доктора Вахтеля, privatissimum (частный курс). Вахтель прочел одному только Пирогову вкратце весь курс описательной анатомии на свежих трупах и спиртовых препаратах. Ни один частный курс, слышанный им впоследствии в немецких и французских университетах, не принес, по признанию самого Пирогова, столько пользы, сколько курс, прочитанный Вахтелем. Профессор же анатомии Цихориус, остроумный и даровитый человек, но большой поклонник Бахуса, ограничивался одним чтением лекций и нисколько не интересовался занятиями Пирогова. Первое время занятиями молодых хирургов, Пирогова, Иноземцева и Даля, руководил Мойер и проводил с ними целые часы в анатомическом институте. Вскоре занятия Пирогова получили вполне самостоятельный характер. Их главным предметом была топографическая анатомия. Топографическая анатомия, иначе называемая хирургическою, или анатомия областей, рассматривает взаимное расположение органов в определенной, ограниченной части тела. Это была наука в то время новая, разрабатываемая преимущественно во Франции и Англии, в России же и даже в Германии ее почти не знали. Пирогов положил ее в основу своих занятий по хирургии, в особенности оперативной.

Результаты направления, принятого Пироговым при своих занятиях, не заставили себя долго ждать. Медицинский факультет предложил на медаль хирургическую тему о перевязке артерий. Пирогов решил писать на эту тему; препарировал, перевязывал артерии у собак и телят, занимался целыми днями. Представленная им на латинском языке работа в 50 писчих листов с рисунками с натуры, с собственных его препаратов,

вышла очень солидною и была удостоена факультетом золотой медали. О работе этой заговорили и студенты, и профессора.

Продолжая заниматься исключительно анатомией и хирургией, Пирогов все более и более специализировался, и познания его в топографической анатомии становились все шире и глубже. Пирогов перестал даже посещать лекции по другим предметам; помимо того, что он интересовался известным циклом медицинских наук, одиночные занятия в анатомическом институте, клинике и дома отучили его от слушания лекций. На теоретических лекциях Пирогов терял нить, дремал и засыпал; ввиду этого молодой ученый считал посещение лекций непроизводительною для себя тратой времени, которое он, следовательно, “крал от занятий своим специальным предметом”. Занятие другими предметами так тяготило Пирогова, что он дошел до абсурдного решения не держать экзамена на доктора медицины. Когда он сообщил об этом Мойеру, последний убедил его отказаться от своего странного решения и уверил Пирогова, что экзаменаторы примут, наверное, во внимание его отличные занятия по анатомии и хирургии и отнесутся к нему снисходительно..

Полагаясь на уверения Мойера, Пирогов в 1831 году приступил к сдаче докторского экзамена, несмотря на то, что почти не занимался прочими медицинскими науками. Желая из упрямства показать факультету, что он не сам идет на экзамен, а его посылают насильно, Пирогов, по собственному признанию, отколол весьма неприличную штуку. В Дерпте тогда и долгое время спустя экзамен на степень производился на дому у декана. Докторант присылал на дом к декану обыкновенно чай, сахар, несколько бутылок вина, торт и шоколад для угощения собравшихся экзаменаторов. Пирогов ничего этого не сделал. Декан Ратке принужден был подать экзаменаторам свое угощение. Жена Ратке, как Пирогову потом рассказывал педель, бранила его за это на чем свет стоит. Экзамен, однако, сошел благополучно.

По окончании экзамена Пирогов на рождественские праздники поехал в Москву повидать свою старушку-мать и сестер. В бытность свою студентом профессорского института он не оказывал материальной поддержки матери.

“Денег я не мог посылать, – говорит Пирогов в своих записках. – Собственно, по совести мог бы и должен бы был высылать. Квартира и отопление были казенные, стол готовый, платье в Дерпте было недорогое и прочное. Но тут явилась на сцену борьба благодарности и сыновнего долга с любознанием и любовью к науке. Почти все жалованье я расходовал на покупку

книг и опыты над животными, а книги, особенно французские, да еще с атласами, стоили недешево; покупка и содержание собак и телят сильно били по карману. Но если, по тогдашнему моему образу мыслей, я обязан был жертвовать всем для науки и знания, а потому и оставлять мою старушку и сестер без материальной помощи, то зато ничего не стоившие мне письма были исполнены юношеского лиризма".

Для этой поездки потребовалась сравнительно значительная сумма, а Пирогов обыкновенно страдал отсутствием денег, никогда не мог свести концы с концами и иногда доходил до того, что от жалованья к концу месяца ничего не оставалось и он сидел без чаю и сахару, – в таком случае чай заменялся ромашкой, мятой или шалфеем. В данном случае наш ученый нашелся. Взяв свои часы, "Илиаду" Гнедича, подарок тещи Мойера, и еще ненужные книги, русские и французские, и старый самоварчик да еще кое-что, он устроил лотерею. С вырученными от лотереи деньгами у него набралось более сотни рублей. Ввиду скромных ресурсов Пирогов нанял для этой поездки случайно подвернувшегося подводчика из Московской губернии, который порожним возвращался в Москву. Земляк-возница чуть не утопил счастливого докторанта в полыньях озера Пейпуса.

Впечатления, вынесенные Пироговым из поездки в Москву, не представлялись особенно лестными для культурного развития первопрестольной столицы тогдашнего времени.

По возвращении из Москвы он принялся за докторскую диссертацию, взяв темой для своей работы перевязку брюшной аорты – вопрос, заинтересовавший его как в хирургическом, так и в физиологическом отношениях. На человеке эта операция была тогда произведена только один раз знаменитым английским хирургом Астлеем Купером и окончилась смертью больного. Пирогов хотел экспериментальным путем решить вопрос относительно уместности этой операции, что ему отчасти и удалось.

30 ноября 1832 года после защиты диссертации Пирогов был удостоен ученой степени доктора медицины.

Теперь предстояла поездка на два года за границу, а потом профессура в одном из русских университетов, может быть, в родном, в Московском, – мечтал Пирогов.

Эти несколько месяцев, протекшие от защиты диссертации до поездки за границу, Пирогов считает самым приятным временем в своей жизни. Семейство Мойеров, а с ним и молодой ученый, жило в деревне в 12 верстах от города. К Мойерам приехали погостить две барышни, и Пирогов, на время покинув анатомический театр, занялся домашним театром. Был поставлен

“Недоросль”, и наш серьезный хирург обнаружил значительный комический талант, сыграв с большим успехом роль Митрофанушки.

В мае 1833 года последовало решение министерства об отправке будущих профессоров за границу: медиков, юристов, филологов и историков – в Берлин, естественников – в Вену. Студенты профессорского института пробыли в Дерпте, таким образом, вместо двух лет – пять, ввиду революционных движений в Европе. Насколько при отправлении в Дерпт в профессорский институт Пирогов по своим познаниям в избранной им специальности представлял собою почти tabula rasa, настолько, отправляясь теперь в заграничную научную поездку, он был вполне подготовлен к дальнейшему самостоятельному научному труду. Серьезные занятия в течение пятилетнего пребывания в Дерпте анатомией и хирургией сделали из Пирогова основательно знающего свой предмет специалиста. Один весьма важный для хирурга и очень трудный отдел анатомии – учение о фасциях (покрывающих мышцы оболочках) – он изучил так основательно, что едва ли кто-нибудь мог быть опытнее его. В этом убедились потом и в Берлине такие корифеи науки, как Шлемм и Иоганн Мюллер. Хирургию Пирогов изучал по монографиям, работая и оперируя на трупах. Но, опираясь на прочную почву анатомии, Пирогов видел вернейший путь к уяснению многих вопросов клинической хирургии в опыте над животными. И до Пирогова прибегали к опытам над животными для решения различных хирургических вопросов, – он же потребовал права гражданства для экспериментальной хирургии, науки, всю важность которой для клиники недостаточно уяснили себе еще и теперь.

Такое безусловно рациональное направление, выработанное Пироговым вполне самостоятельно, было совершенно ново и ставило его на голову выше современных ему хирургов. Приложить принятый им метод в большем масштабе, – вот что необходимо было Пирогову. В Дерпте в его распоряжении было слишком мало и мертвого материала – трупов, и живого материала – клинических больных. Последнее было особенно ощутимо для молодого хирурга. Для того чтобы выработать из себя клинициста, Пирогову нужно было лишь позаняться в больших заграничных клиниках и госпиталях под руководством выдающихся клинических наставников. Это-то и должна была дать заграничная поездка.

С прекрасной подготовкой и с девизом “je prends mon bien partout, ощ je le trouve”[2] явился молодой русский хирург в заграничные клиники.

Германская медицина тридцатых годов XIX века переживала переходное время. В то время, как в Англии и во Франции клиническая медицина, а в особенности хирургия, основывались на анатомии, физиологии и патологической анатомии, выдающиеся немецкие клиницисты были крайне малосведущи в этих основных медицинских науках. Особенно поражало отсутствие анатомического базиса у хирургов.

В Берлине Пирогов работал у профессора Шлемма по анатомии и оперативной хирургии на трупах, слушал клинические лекции хирурга Руста, был практикантом (вел больных) у Грефе в хирургической и глазной клиниках и занимался оперативной хирургией у Диффенбаха. Из своих берлинских профессоров Пирогов особенно сошелся с Шлеммом. С первого же раза еще очень юный слушатель и уже пожилой профессор полюбили друг друга. Шлемм видел в Пирогове иностранца, любившего его любимые занятия и притом знавшего многое из того отдела анатомии, которым сам Шлемм занимался мало. Шлемм был в то время первостепенным техником по анатомии и, кроме того, превосходно оперировал на трупах.

Клиницистами-хирургами были тогда в Берлине Грефе, Руст, Диффенбах и Юнгкен. Клиника Руста считалась в то время молодыми немецкими врачами едва ли не самою образцовою в Германии, и действительно – Руст был в известном смысле наиболее реалист между врачами тогдашнего времени. Он стремился основать свою диагностику исключительно на одних объективных признаках болезни; поэтому он требовал в своей клинике от практикантов прежде расспроса больного исследования самого пациента.

“Принцип превосходный, – замечает Пирогов, – расспросы и рассказы больного, особливо необразованного, нередко служат вместо раскрытия истины к ее затемнению. Но медицина, не говоря уже о временах Руста, и до сих пор не владеет еще таким запасом надежных физических или органических, т. е. объективных, признаков, на который можно было бы положиться, не прибегая к расспросам больного и не полагая их в основу распознавания. И вот Руст в самонадеянности, при малом запасе верных физических признаков болезней, поневоле допускал целую кучу мнимых”.

Последнее обстоятельство вело, разумеется, весьма часто к неправильным диагнозам. Чтобы не обнаруживать таких диагностических промахов, иногда довольно грубых, больных в дальнейшем течении их болезни старались скрывать от студентов и практикантов. Дело велось так, что вновь поступившего больного присылали в клиническую аудиторию, здесь определяли

болезнь и назначали лечение, а потом больного уносили, – и о нем ни слуху, ни духу. Несмотря на все недостатки, способ диагноза a la Руст был в то время так привлекателен своими кажущимися положительностью и точностью, что принят был и другими клиницистами. Сам Пирогов признается, что в первые годы своей клинической деятельности в Дерпте придерживался этого способа и увлекал им молодежь.

Руст сам в то время уже не оперировал, а предоставил в своей клинике оперативную часть Диффенбаху. Последний приобрел себе уже тогда славу и имя своими пластическими операциями (восстанавливающими надлежащие формы внешних органов, например носа). В самом деле, по словам Пирогова, это был гений-самородок для пластических операций. Изобретательность Диффенбаха в этой хирургической специальности была беспредельна. Каждая из его пластических операций отличалась чем-нибудь новым, импровизированным. На своих частных курсах оперативной хирургии Диффенбах и знакомил своих слушателей с этими, тогда еще совершенно новыми, операциями.

Если клинику Руста посещали, чтобы слышать оракульское изречение врача-оригинала, то в клинику другого хирурга, Грефе, шли, чтобы видеть истинного маэстро, виртуоза-оператора. Операции Грефе удивляли всех ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенною скоростью производства. Ассистенты Грефе знали наизусть все требования и все хирургические замашки и привычки своего знаменитого маэстро: во время операции все делалось само собой, без слов и разговоров. В клинике Грефе было хорошо в особенности то, что все практиканты могли следить за больными и оперированными и сами допускались к производству операций, но не иначе, как по способу Грефе и инструментами его изобретения. Так, и Пирогову как практиканту выпало тоже сделать у Грефе три операции. Грефе остался доволен его техникой, “но он не знал, – замечает Пирогов, – что все эти операции я исполнил бы вдесятеро лучше, если бы не делал их неуклюжими и несподручными мне инструментами”.

Наибольшее влияние и значение для Пирогова имел выдающийся немецкий хирург того времени, знаменитый геттингенский профессор Конрад Лангенбек. По своему направлению, родственному направлению самого Пирогова, Лангенбек, естественно, должен был заинтересовать молодого ученого. Лангенбек был тогда в Германии единственный хирург-анатом, между тем как большинство хирургов того времени вообще представляли собой лишь хирургов-техников. Знания Лангенбека в анатомии были так же обширны, как и в хирургии. В

то время, не знавшее анестезии, быстрое оперирование имело еще большее значение для больных, потому что сокращало время боли. Между тем некоторые хирурги возводили в принцип медленное оперирование, находя, что при этом дело ведется надежнее, и операция может иметь больше шансов на успех. Лангенбек стоял принципиально за быстрое производство операций. Сторонником такого взгляда являлся и Пирогов: живой темперамент и приобретенная долгим упражнением на трупах верность руки делали для него поистине противною эту злую медленность из принципа. Даже и теперь при операциях под наркозом медленное оперирование какого-либо хирурга-кунктатора производит довольно тяжелое впечатление. Какое же впечатление должно было оно производить тогда, когда операции сопровождались воплями и криками больного? И если Пирогова приводило в восторг необыкновенно скорое, ловкое и гладкое оперирование Грефе, то на него гораздо большее и лучшее впечатление произвело скорое, научное и оригинальное оперирование Лангенбека. Лангенбек достигал этого отчетливым знанием анатомического положения частей и основанными на этом знании оперативными способами. Это обусловливалось еще и природною ловкостью, заключавшейся в замечательном искусстве приспосабливать при операции движения ног и всего туловища к действию оперирующей руки. На privatissimum Лангенбека Пирогов первый раз увидел такое искусство приспособления; а это делалось не случайно, не как-нибудь, но по известным правилам, указанным опытом.

“Впоследствии, – пишет Пирогов, – мои собственные упражнения на трупах показали мне практическую важность этих приемов”. Далее Лангенбек возводил в принцип при производстве хирургических операций избегать давления рукою на нож и пилу. “Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга”, – говаривал Лангенбек. “Лангенбек, – замечает Пирогов, – научил меня не держать нож полною рукой, кулаком, не давить на него, а тянуть, как смычок, по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать”. Таким образом, в отношении оперативной техники Пирогов усвоил себе принципы Лангенбека. Сама личность Лангенбека, оригинальная и симпатичная, осталась не без влияния на Пирогова, тем более что жизнь в маленьком университетском городке допускала большую возможность сближения между профессорами и слушателями. Впоследствии в своих “Анналах дерптской клиники” Пирогов с благодарностью вспоминает о Лангенбеке и его privatissimum.

Двухгодичное пребывание за границей приближалось к

концу. Незадолго до отъезда будущие профессора получили от министерства Уварова запрос, в каком университете желал бы каждый из них занять кафедру. Пирогов отвечал, конечно, не задумываясь – в Москве, на родине. Уверенный в этом, он известил потом свою старушку-мать, чтобы она загодя распорядилась квартирой и так далее.

С такими мечтами выехал Пирогов в мае 1835 года из Берлина. В дороге он неожиданно расхворался и, совершенно больной, без копейки денег, приехал в Ригу. Ехать дальше представлялось немыслимым, и Пирогов написал о своем положении жившему в Риге попечителю Дерптского университета, бывшему одновременно остзейским генерал-губернатором. “Не помню, – говорит он, – что, но судя по результату я, должно быть, в этом письме навалял что-нибудь очень забористое”. Не прошло и часу времени, как к Пирогову прилетел от генерал-губернатора медицинский инспектор, доктор Леви, с приказанием тотчас принять все меры к облегчению участи проезжего. Леви отнесся с живейшим участием к больному и был, по выражению самого Пирогова, его “гением-хранителем во все время пребывания в Риге”.

Пирогова со всеми возможными удобствами поместили в большом загородном военном госпитале, где он пролежал около двух месяцев. Когда молодой ученый уже поправился, его посетил генерал-губернатор и сообщил, что он говорил о нем с министром и что ему нет нужды торопиться с отъездом. Успокоенный попечителем, Пирогов остальное время своего пребывания в Риге посвятил хирургической практике, представившейся ему как в городе, так и в самом госпитале, где не оказалось оператора. После целого ряда блестящих операций Пирогов в сентябре покинул Ригу, чтобы ехать в Петербург представиться министру до занятия кафедры в Москве.

По пути он решил завернуть на несколько дней в Дерпт и повидаться с семейством Мойера и другими знакомыми. Здесь его ожидало известие, поразившее как гром, – известие о назначении на московскую кафедру не его, а Иноземцева.

“Первая новость, услышанная мною в Дерпте, – пишет Пирогов, – была та, что я покуда остался за штатом и прогулял мое место в Москве. Я узнал, что попечитель Московского университета Строганов настоял у министра об определении на кафедру хирургии в Москве Иноземцева. Первое впечатление от этой новости было, сколько помню, очень тяжелое – недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке… Это он был назначен разрушить мои мечты и лишить меня, мою бедную мать и бедных сестер первого счастия в жизни! Сколько

счастья доставляло и им, и мне думать о том дне, когда наконец я явлюсь, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжкое время сиротства и нищенства! И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом!”

С такими тяжелыми мыслями и грустным чувством, в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы Пирогов решил пока остаться в Дерпте. “Теперь, – пишет он, – спешить было некуда. Одно действие на сцене жизни кончилось, занавес опустился. Отдохнем от испытанных волнений и подождем другого”.

ГЛАВА IV

Предложение Мойера. – Поездка в Петербург и петербургские впечатления. – Выбор в экстраординарные профессора Дерптского университета. – Пирогов – профессор и клиницист. – "Анналы хирургической клиники".– Отношения со студентами. – Поездка в Париж. – "Чингисхановы нашествия" на Ригу и Ревель. – Ученые труды дерптского периода

Недолго, однако, пришлось Пирогову ждать следующего действия – одного из самых блестящих в его жизни.

Ко времени возвращения Пирогова в Дерпт тамошняя хирургическая клиника была в печальном состоянии. Избранный ректором Мойер за массой дел не вел совсем клиники и не читал никаких лекций. Клиника была предоставлена ассистенту А. Струве, позднее профессору Харьковского университета.

Пирогов стал усердно посещать клинику. Как раз в клинике скопилось несколько весьма интересных и трудных оперативных случаев. Мойер поручил молодому хирургу распорядиться с этими больными по своему усмотрению. Между ними был мальчик с каменной болезнью, которому нужно было сделать операцию удаления камня (литотомию). Один из бывших в Берлине одновременно с Пироговым студент рассказал в Дерпте о необыкновенной скорости, с какою молодой хирург делает литотомию на трупе.

"Вследствие этого, – пишет Пирогов, – набралось много зрителей смотреть, как и как скоро сделаю я литотомию у живого. А я, подражая знаменитому Грефе, поручил ассистенту держать наготове каждый инструмент между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многие вынули часы. Раз, два, три – не прошло и двух минут, как камень был извлечен. Все, не исключая и Мойера, смотревшего также на мой подвиг, были изумлены. – *В две минуты, даже менее двух минут, это удивительно,* – слышалось со всех сторон".

За этою операцией последовал целый ряд других очень трудных, блестяще произведенных Пироговым. Хирургическая клиника ожила, в ней закипела жизнь.

Вскоре после этого Мойер пригласил к себе Пирогова и, как некогда Мухин удивил его предложением ехать в Дерпт, так и Мойер еще больше поразил его, предложив ему ни более ни менее, как занять кафедру хирургии в Дерптском университете. Пирогов, мечты которого о профессорстве и жизни в Москве вместе с матерью и сестрами были разбиты, с радостью принял

столь лестное для него предложение. Медицинский факультет, которому Мойер предложил Пирогова как своего преемника, единогласно выбрал его в профессора. Дело перешло в Совет университета, а Пирогов отправился в Петербург, чтобы представиться министру и ожидать окончательного решения.

По приезде в Петербург, сделав официальные визиты, молодой профессор стал посещать городские больницы и госпитали, преимущественно Обуховскую больницу и Марии Магдалины. Больничные врачи в Петербурге, как и в Риге, при первом же знакомстве с Пироговым, выразили желание выслушать у него курс хирургической анатомии, науки, даже название которой было неизвестно многим врачам. Лекции эти продолжались недель шесть, слушателей было свыше 20-ти, в том числе лейб-медик П. Ф. Арендт и профессор Медико-хирургической академии Саломон. Обстановка лекций была самая жалкая. Аудиторией служила покойницкая Обуховской больницы, небольшая, довольно грязная комната, освещенная несколькими сальными свечами. Днем лектор приготовлял препараты, обыкновенно на нескольких трупах; на самой лекции он демонстрировал на своих препаратах положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, делаемые в этой области, с соблюдением требуемых хирургическою анатомией правил. Этот наглядный способ в особенности заинтересовал слушателей; он для всех них был нов, хотя почти все слушали курсы и в заграничных университетах. Лекции эти ввиду состава своих слушателей Пирогов читал по-немецки.

Пирогов перезнакомился с массой петербургских врачей и с профессорами Медико-хирургической академии. Немало операций произвел он в это первое свое пребывание в Петербурге в Обуховской больнице и больнице Марии Магдалины. Вот как рассказывает он о своем времяпрепровождении в Петербурге:

“Целое утро в госпиталях – операции и перевязки оперированных, потом, в покойницкой Обуховской больницы, – приготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело (в Петербурге зимой между 3–4 часами), бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в семь, опять в покойницкую и там до девяти; оттуда позовут куда-нибудь на чай, и там до 12. Так изо дня в день. Несмотря на усиленную деятельность с раннего утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь: мне жилось привольно в своем элементе”.

Между тем в Совете университета выборы Пирогова на кафедру хирургии затянулись. В особенности восстали против него представители теологического факультета. Дерптские

богословы открыли какой-то закон основателя Дерптского университета, Густава-Адольфа Шведского, в силу которого одни только протестанты могли быть профессорами университета.

“Существовал ли такой закон, – замечает Пирогов, – или нет, Бог его знает, но при Николае Павловиче на него нельзя было ссылаться. Это понимали, вероятно, не хуже других и дерптские богословы”.

Во всяком случае, в Совете поднялись бесконечные споры.

Пирогов терял терпение, выходил из себя и бомбардировал Мойера письмами, объявив ему наконец, что решается принять кафедру в Харькове, предложенную ему через Арендта попечителем Головкиным.

Наконец, в марте 1836 года, он получил известие о своем избрании в экстраординарные профессора.

“Матушку и сестер, – пишет Пирогов, – я не решался перевезти из Москвы в Дерпт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка были слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное – слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться”.

Итак, “миг вожделенный настал” – Пирогов получил кафедру.

“Вот я, наконец, – восклицает Николай Иванович, – профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого. Это значило, что я один должен был: 1) держать клинику и поликлинику, по меньшей мере два с половиной – три часа в день; 2) читать полный курс теоретической хирургии 1 час в день; 3) оперативную хирургию и упражнения на трупах 1 час в день; 4) офтальмологию и глазную клинику 1 час в день; итого 6 часов в день. Но шесть часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо больше времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовление к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе”.

Как же справлялся со всею массой работы 26-летний ученый? Каким профессором был Пирогов? Каким клиническим учителем? “Пусть учится только тот, кто хочет учиться, – это его дело. Но кто хочет у меня учиться, тот должен чему-нибудь научиться – это мое дело, так должен думать каждый совестливый преподаватель”. Вот девиз, с которым взошел на профессорскую кафедру Пирогов.

Занимаясь специально предметом целых восемь лет до своей

профессуры, Пирогов мог смело сказать, что “знал его не хуже других”. Не считая себя принадлежащим к бесталанным доцентам, не будучи также трусом, молодой профессор, не приготовившись, не изложив мысли на бумагу, не наведя справок и не записав их точно, никогда не решался в первые годы вступить на кафедру. Составленные им записки занимали 300 листов мелкого письма.

Стараясь дать своим слушателям возможно более полные теоретические сведения по всякому вопросу, Пирогов вместе с тем поставил себе задачей делать свои лекции как можно более наглядными. Так, на своих лекциях Пирогов производил вивисекции, опыты над животными. Он воспроизводил, например, на кошках и собаках проникающие раны грудной полости, чтобы обратить внимание слушателей на особенный свист, обусловленный выхождением воздуха при подобного рода ранении груди; или же он воспроизводил проникающие раны брюшной полости и кишок, чтобы демонстрировать на живом организме наложение разного рода швов. Такое наглядное преподавание хирургии, которого никогда не видели в Дерпте ни до, ни даже после Пирогова, да и вообще вряд ли где и в другом университете, способно было в высшей степени привлечь слушателей и помочь им уяснить и усвоить себе слышанное из уст профессора.

В основание своих клинических занятий со студентами Пирогов положил способ, принятый Рустом, но, конечно, не утрируя его и не шарлатаня, как это зачастую делал Руст. Метод Руста, о котором мы уже говорили в свое время, был тогда еще нов. Кроме того, Пирогов требовал от студентов, чтобы они при исследовании больного и при клиническом разборе случая отдавали себе строгий отчет во всем том, что отвечают профессору, не могли бы отделываться каким-либо общим местом, а или говорили бы дело, или же сознавались в своем незнании. Ведя таким образом свои клинические занятия, Пирогов учил студентов *систематически мыслить у постели больного.* Между тем лишь немногие клиницисты заботятся о развитии этой существенно важной для будущей профессиональной деятельности способности в своих слушателях, а очень многие из клинических наставников, к сожалению, не делают этого по не зависящим от них обстоятельствам, а именно – за отсутствием у них самих этой способности.

Выдающеюся чертою, делающею величайшую честь Пирогову как клиническому наставнику, представляется его научная добросовестность по отношению к своим ученикам, его откровенное признание перед аудиторией своих ошибок. В

бытность свою за границей он “достаточно убедился, что научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов”. Пирогов видел там, что в знаменитых клиниках нередко принимались меры не для открытия, а для затемнения научной истины. “Везде, – говорит он, – было заметно старание показать товар лицом, и это бы еще ничего, но с тем, вместе товар худой и недоброкачественный продавался за хороший и кому? – Молодежи, неопытной, не знакомой с делом, но инстинктивно ищущей научной правды”.

Это недостойное и несимпатичное стремление шло вразрез со взглядами нашего ученого на обязанности клинического наставника. “Для учителя такой прикладной науки, как медицина, писал он, необходима, кроме научных знаний и опытности, еще добросовестность, приобретаемая только трудным искусством самосознания, самообладания и знания человеческой натуры”. И вот, чтобы приблизиться, сколько можно, к тому идеалу, который Пирогов составил себе об обязанностях профессора хирургии, он положил себе за правило при первом своем вступлении на кафедру ничего не скрывать от своих учеников, откровенно сознаваться перед своими слушателями в своих ошибках и во всех промахах у постели больного.

Осуществлением такого решения на деле явилось издание Пироговым “Анналов (летописей) хирургической клиники” за первые два года его профессорства, составленных им в этом духе. “Анналы” эти представляют собрание клинических лекций Пирогова и описание случаев, наблюдавшихся в клинике. Обыкновенно подобные клинические отчеты носили и носят совершенно иной характер. Выбираются наиболее блестящие клинические случаи в смысле диагноза или лечения, и о них-то главным образом и повествуется ad maiorem gloriam автора отчета; о неудачных же в лучшем случае упоминается либо вскользь, либо за волосы притягиваются все возможные и невозможные извиняющие и смягчающие вину обстоятельства. В “Анналах” Пирогова мы видим диаметрально противоположное направление. Взяв эпиграфом слова Ж.-Ж. Руссо из его “Исповеди”: “Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra; je viendrai ce livre a la main me prйsenter devant le souverain juge. Je dirai hautement: Voila ce que j'ai fait, ce que j'ai pensй, ce que je fus”,[3] Пирогов в своей *клинической исповеди* также не щадил себя и откровенно сознавался в своих ошибках как при диагнозе, так и в лечении, подробно останавливаясь на таких случаях. В предисловии своем молодой профессор заявил, что пишет книгу эту не для того, чтобы служить молодым врачам

примером действий при постели больного, а для того, чтобы не служить.

Какое отрадное впечатление своею научной добросовестностью произвели “Анналы” Пирогова, можно судить по следующему факту. Когда печатались “Анналы”, неожиданно ночью является к Пирогову цензор, профессор минералогии Энгельгардт, вынимает из кармана один лист “Анналов”, читает вслух взволнованным голосом и со слезами на глазах откровенное признание автора в грубейшей ошибке диагноза и сопровождающий это признание упрек собственному тщеславию и самомнению. Прочитав, старичок-профессор принялся обнимать Пирогова и сказал, совершенно растроганный: *Ichrespectiere Sie* (Я уважаю Вас). “Этой сцены, – говорит Пирогов, – я никогда не забуду; она была слишком отрадная для меня… За это задушевное *respectiere* старика я готов был перенести не одну, а тысячу критик”.

Пирогов, раскрывая сам свои ошибки и критикуя себя беспощадно, не предполагал, что найдутся охотники воспользоваться его положением и в критическом разборе снова выставить на вид признанные им самим грехи его. Критик, однако, нашелся, и “начал валять” Пирогова. “Дело было, – говорит он, – конечно, нетрудное. Я сам облегчил ему этот труд, потому что, печатая свои ошибки, валял себя без милосердия”. Критик, так *отвалявший* Пирогова, был его петербургский знакомый, д-р Задлер, написавший огромную критическую статью. С этою статьей в руках Пирогов явился в свою аудиторию и доказал, что в ней еще многие из его ошибок не были выставлены. “Я выиграл в глазах моих слушателей, – говорит он, – и благодаря этой критике они мне начали верить вдвое более прежнего”.

Таким образом, если “Анналы” не должны были, по заявлению их автора, служить молодым врачам примером действий при постели больного, то, с другой стороны, научная добросовестность, которою дышала эта клиническая исповедь, должна была служить молодым и даже старым профессорам образцом подражания.

Вполне естественно, что молодой профессор, вложивший всю душу в свой предмет, с увлечением преподававший любимую науку, работавший неутомимо для студентов и для себя, быстро завоевал симпатии молодежи. А Пирогову эти симпатии пришлось действительно завоевывать. Избранный не без давления высшей административной власти, новый профессор был встречен студентами, горячо стоявшими за права университета, с сильным предубеждением и неудовольствием. Сближение между

профессором и аудиторией произошло, однако, так быстро и стоило так мало труда Пирогову, что он мог бы с полным правом сказать о себе Цезарево: “пришел, увидел, победил”. Со свойственною молодежи инстинктивной чуткостью студенты с первой же лекции оценили в Пирогове знающего наставника.

Вот как описывает эту первую лекцию Пирогова один из его учеников:

“В первых числах апреля месяца 1836 года была первая лекция Пирогова в анатомическом театре. Предметом ее было учение о суставах, он показывал при этом свои препараты, деланные им самим, еще студентом. Мы (студенты старших семестров) пошли все, но не очень охотно, хотя все были убеждены, что надо учиться. Николай Иванович говорил тогда очень худо по-немецки, так что образование фраз у него выходило иногда очень смешно, почему мы иногда очень громко хохотали. Пирогов немного конфузился, краснел, но серьезно продолжал свою лекцию. По окончании лекции он обратился к нам с следующими словами: “Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки, по этой причине я, разумеется, не могу быть так ясным, как того желал бы, почему прошу вас, господа, говорить мне каждый раз после лекции, в чем я не был достаточно вами понят, и я готов повторять и объяснять любые препараты” (Фробен).

Студенты из этой первой лекции Пирогова вынесли то впечатление, что молодой профессор, хотя иногда и выражается плохо, но предмет свой знает отлично и что “наконец-то они узнают что-нибудь из хирургии”. На второй лекции студенты уже мало смеялись, а на третьей и вовсе нет. Разумная же и интересная постановка клинических занятий совершенно примирила студентов с новым профессором.

“Правду сказать, удивительно было, да и редко вообще может случиться, чтобы человек, встреченный с негодованием, в течение нескольких недель сделался многоуважаемым, любимым массою молодых людей. Только такому даровитому человеку, каким был Пирогов, и возможно было этого достигнуть так скоро” (Фробен).

Вскоре студенты совершенно забыли о восстании дерптских богословов против выбора Пирогова; он сделался любимым профессором. Не только медики, но и студенты других факультетов приходили в хирургическую клинику и анатомический институт слушать интересные лекции молодого профессора; при этом не играло никакой роли то, что Пирогов не владел еще в совершенстве немецким языком. Позднее, иллюстрируя в одной из своих статей по университетскому вопросу международный характер науки, Пирогов не без гордости

упоминает об этом: “Моя милость читала также лекции целых пять лет на ломаном немецком языке; немецкие слушатели слушали меня так же охотно, как и русские, а немцы чувствительнее нашего к грамматическим промахам и ошибкам в произношении”.

Взаимные отношения нового профессора и его ближайших слушателей становились все дружественнее и дружественнее, почти совершенно товарищескими. После вечерних обходов клиники Пирогов со слушателями очень часто заходил в квартиру ассистента, и здесь велась совершенно непринужденная беседа часов до 11–12. Каждую субботу вечером человек 10–15 собирались у Пирогова к чаю. Разговоры были всегда очень оживленные, научные и ненаучные, веселые и остроумные.

Пирогов, как мы видим, не считал нужным вводить в свои отношения со студентами “генеральский” элемент. Он видел в них младших товарищей, ищущих знания у старшего, сведущего и опытного товарища. Он не окружал себя ореолом непогрешимости, не пытался развивать в своих учениках слепой веры в авторитет, а старался будить в них критический дух, поощрять стремление к самостоятельному взгляду на факты. Это и должны были найти слушатели Пирогова в клинической исповеди своего наставника, в “Анналах” его клиники. Университет также по достоинству оценил Пирогова-профессора и на другой же год (1837) избрал его в ординарные профессора, а потом (в 1838 году) отправил с ученой целью за границу, в Париж, выдав ему пособие из университетских сумм.

Пирогова, конечно, сильно интересовали медицинский Париж и тамошние корифеи хирургии. Он поехал в Париж прямо из Дерпта и, нигде не отдыхая, пробыл в пути 13 дней. Несмотря на 13 ночей, проведенных в экипаже, неутомимый ученый сейчас же по приезде отправится осматривать госпитали. Париж в хирургическом отношении не произвел на Пирогова особенно благоприятного впечатления. Всего более поразила его значительная смертность в госпиталях. Сами госпитали, по выражению Пирогова, смотрели угрюмо. Представителями хирургии в Париже были тогда такие знаменитости, как Вельпо, Ру, Лисфранк, Амюсса. Из всех парижских хирургов самое приятное впечатление на него произвел Вельпо.

“Может быть, – рассуждает он, – Вельпо нравился мне и потому, что на первых же порах сильно пощекотал мое авторское самолюбие. Когда я пришел к нему в первый раз, то застал его читающим два первые выпуска моей “Хирургической анатомии артерий и фасций”. Когда я ему рекомендовался глухо: Je suis un medйcin russe (я русский врач), то он тотчас же спросил меня, не

знаком ли я с professeur de Dorpat, M. Pirogoff, и когда я ему объявил, что я сам и есть Пирогов, то Вельпо принялся расхваливать мое направление в хирургии, мои исследования фасций, рисунки и т. д.”.

Пирогов записался на различные частные курсы и лекции, но вскоре разочаровался в них. Все privatissima, взятые им у парижских специалистов, по его выражению, не стоили выеденного яйца, и он напрасно только потерял свои луидоры.

Занятия Пирогова в Париже состояли единственно в посещении госпиталей, анатомического театра и бойни для вивисекций над больными животными (лошадьми). Это было единственное privatissimum Амюсса с демонстрациями на живых животных. Сам Амюсса, впрочем, редко являлся на живодерню. Чтобы воспользоваться редким случаем вивисекций на больных животных, Пирогов сошелся с несколькими американскими врачами с целью производить вивисекции в живодерне за общий счет.

Кроме этой научной поездки в Париж, Пирогов во время своего профессорства в Дерпте каждые каникулы предпринимал хирургические экскурсии в Ригу, Ревель, а также и в другие города балтийского края. Один из его приятелей называл эти экскурсии по множеству проливавшейся в них крови *Чингисхановыминашествиями.* Мысль об этих хирургических набегах возникла у Пирогова в 1837 году, когда слава о нем стала распространяться по Лифляндии и соседним губерниям, и в клинику не только стали являться больные из ближнего соседства, а начали поступать просьбы о принятии больных в хирургическую клинику из разных городов. Маленькая дерптская клиника (22 кровати) не могла, разумеется, удовлетворить предъявляемым требованиям. Ввиду такого увеличивающегося спроса на хирургическую помощь Пирогов и стал производить свои “Чингисхановы нашествия”, беря с собою нескольких ассистентов. По инициативе местных врачей в маленьких городах пасторы соседних деревень объявляли в церквах всенародно о прибытии дерптского хирурга. К нему стекались все слепые, хромые, страдающие наростами – одним словом, разнообразнейшие хирургические больные. Пирогов и его ассистенты оказывали каждому всю возможную оперативную помощь.

Пирогов занимал профессуру в Дерпте в течение пяти лет, с 1836 по 1841 год. За этот период Пирогов издал 2 тома клинических анналов (1837–1839), свою “Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций”, сразу завоевавшую ему имя в науке, и монографию о перерезке ахиллесова

сухожилия. Клинические анналы, о характере и цели которых мы уже говорили выше, свидетельствуют живо о том, как содержательны, остроумны и блестящи были лекции Пирогова.

Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций представляет собой атлас рисунков, литографированных с препаратов, специально сделанных Пироговым, с латинским и немецким текстом. Позднее были выпущены русские издания этого классического труда, частью самим Пироговым, частью другими хирургами (издания Шимановского, Коломнина).

Наконец, монография его о перерезке ахиллесова сухожилия имеет своим предметом процесс заживления перерезанного сухожилия. Монография эта представляет собой образец того, как Пирогов ставил работы по экспериментальной хирургии, и доказывает, какие прекрасные результаты, какие важные и поучительные выводы могут давать такие работы. Пирогов посвятил также много времени и труда экспериментальному решению вопроса относительно радикального излечения грыж. Результаты этих опытов изложены им в его клинических анналах на страницах, посвященных лечению грыж. Вообще, при решении многих вопросов клиники Пирогов обращался к вивисекции. Он требовал всегда такую массу животных, что в самом Дерпте не хватало уже кошек, собак и кроликов, и его ассистенты часто принуждены были объезжать соседние деревни для покупки этих животных.

Желая распространить в публике более здравые взгляды на хирургию, поднять доверие к ней и поколебать страх публики перед ножом хирурга, молодой профессор вскоре после своего появления в Дерпте прочел в университете публичную лекцию “О предубеждении публики против хирургии”.

Когда Пирогов покидал Дерптский университет, слушатели его при прощании с ним выразили единодушное желание поставить его портрет в операционной зале.

Довольно удачный портрет, писанный масляными красками русским художником Хрипковым, жившим тогда в Дерпте, украшает и поныне операционный зал, по крайней мере находился там до половины 80-х годов.

ГЛАВА V

Хлопоты о переводе в Петербург. – Проект учреждения кафедры госпитальной хирургии. – Перевод в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию. – Буцефалова глупость. – Медицинская комиссия при министерстве народного просвещения. – Устройство анатомического института. – Музей патологической анатомии. – Исследования об анестезировании. – Командировка на Кавказ. – Первая аудиенция у Великой княгини Елены Павловны. – Холера в Петербурге. – Ученые труды петербургского периода

Монотонная жизнь маленького провинциального городка и скромное положение профессора маленькой клиники провинциального университета не могли, разумеется, удовлетворить ту жажду кипучей и широкой деятельности, которую должен был испытывать Пирогов. Будучи первым в "деревне", пользовавшийся уже тогда европейской известностью, он имел все права и данные на то, чтобы сделаться первым в Риме. В скором времени ему представилась возможность к этому благодаря преобразованию Санкт-Петербургской медико-хирургической академии.

Медико-хирургическая академия, находившаяся до 1838 года в ведении министерства внутренних дел, перешла в декабре 1838 года в управление военного министерства и поступила в ближайшее распоряжение графа П. А. Клейнмихеля. Президентом (начальником) ее был назначен И. Б. Шлегель, бывший главным доктором военного госпиталя в Риге; занимавший же место вице-президента академии профессор хирургии Буш вышел в отставку. Таким образом, в академии оказалась вакантною кафедра хирургии. На эту-то кафедру и стали приглашать Пирогова. Но профессор Буш, занимая кафедру хирургии, не заведовал клиникой, хирургическая же клиника находилась в заведовании профессора Саломона. Пирогов, считая хирургическую профессуру без клиники за nonsens, не соглашался занять эту кафедру, но вместе с тем предложил такую комбинацию, с помощью которой он мог бы иметь отвечающую его желаниям кафедру в академии.

Новая комбинация Пирогова была ни более ни менее, как учреждение в академии новой кафедры госпитальной хирургии. Проект об учреждении этой кафедры был представлен Пироговым самому Клейнмихелю.

"Молодые врачи, – говорит он в своем проекте, – выходящие

из наших учебных учреждений, почти совсем не имеют практического медицинского образования, так как наши клиники обязаны давать им только главные основные понятия о распознавании, ходе и лечении болезней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и делаясь самостоятельными при постели больных, в больницах, военных лазаретах и частной практике приходят в весьма затруднительное положение, не приносят ожидаемой от них пользы и не достигают цели своего назначения".

Имея в виду устранить этот важный пробел в наших учебных медицинских учреждениях, Пирогов и предложил сверх обыкновенных клиник учредить еще и госпитальные.

В Петербургской медико-хирургической академии Пирогов видел возможность тотчас же приступить к этому нововведению, так как при академии почти в одной и той же местности помещался Второй военно-сухопутный госпиталь, и оба учреждения, академия и названный госпиталь, принадлежали одному и тому же ведомству. Далее, по его проекту в госпитале предполагалось устроить две обширные клиники, терапевтическую и хирургическую, с аудиториями по этим кафедрам и кабинетами. Для устранения единообразия военно-клинического материала предположено было в хирургическом отделении учредить гражданское отделение на 75 больных, содерживаемых за счет военного ведомства и принимаемых по выбору профессора.

Проект этот был принят Клейнмихелем, и в начале 1841 года Пирогов был переведен в С.-Петербургскую медико-хирургическую академию профессором госпитальной хирургии и прикладной анатомии и назначен заведовать всем хирургическим отделением Второго военно-сухопутного госпиталя с званием главного врача хирургического отделения. Врачебные и учебные действия Пирогова по этому отделению госпиталя, заключавшему в себе до 1000 кроватей, были совершенно независимы от госпитального начальства, и только по делам госпитальной администрации Пирогов обязан был держать связь с главным доктором.

Осмотрев свои новые столь обширные хирургические владения, ученый хирург пришел в ужас от того, что представилось его глазам. Вот какую страшную картину представлял собой Второй сухопутный госпиталь. Огромные госпитальные палаты (на 60—100 кроватей), плохо вентилируемые, были переполнены больными с рожистыми воспалениями, острогнойными отеками и гнойным заражением крови. Для операций не было ни одного, даже плохого,

помещения. Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами без зазрения совести от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина, например, сплошь да рядом отпускалась бычья желчь, вместо рыбьего жира – какое-то иноземное масло. Хлеб и вообще вся провизия, отпускавшиеся на госпитальных, были ниже всякой критики.

Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по несколько сот рублей в карты ежедневно. Мясной подрядчик на виду у всех развозил мясо по домам членов госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы уксуса, разных трав и т. п. В последнее время дошло до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с ран корпию, повязки, компрессы и прочее, и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки в особые камеры, расположенные возле палат с больными.

В течение целого года по приезде в Петербург Пирогов занимался изо дня в день в страшных помещениях Второго госпиталя с больными и оперированными и в отвратительных до невозможности старых банях этого же госпиталя; в них за неимением других помещений он производил вскрытие трупов, иногда по двадцати в день, в летнюю жару; зимою во время ледохода переезжал ежедневно по два раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по два между льдами.

Молодому и энергичному хирургу предстояло совершить один из подвигов Геркулеса – превратить авгиевы конюшни Второго военно-сухопутного госпиталя в благоустроенные госпитальные клиники. Задача была не из легких. Административное “военно-ученое болото”, в которое попал Пирогов, заволновалось. Населявшие его гады всполошились и соединенными усилиями набросились на нарушителя их мирной идиллии, основанной на общем попирании человеческих прав и гражданских законов. Но они не знали, что перед ними был человек твердых убеждений, человек, которого можно только сломить, но согнуть нельзя, и который не позволит наступить себе на ногу. Одному из этих господ, главному доктору госпиталя Лоссиевскому, пришлось на своей шкуре испытать это.

Сей почтенный муж был известен среди своих товарищей под именем “Буцефала”. “Хотя, – говорит Пирогов, – известная французская поговорка: “grande tкte – grande bкte”[4] и грешит против физиологии, но нет правил, даже физиологических, без исключений. В отношении к голове Лоссиевского физиология оказалась действительно неправою”. Вот с этим-то grande bкte и

происходили постоянные стычки, закончившиеся эпизодом, который наш ученый называет в своих записках “Буцефаловой глупостью”.

Дело происходило в 1843 году. Лоссиевский как-то призывает ассистента Пирогова и ординатора госпиталя, доктора Неммерта, и спрашивает его, не заметил ли он чего особенного в поведении профессора Пирогова. Неммерт говорит, что нет. На дальнейший вопрос Лоссиевского, почему же Пирогов прописывает в таких больших дозах наркотические средства, так однажды экстракта белены до пяти гран на прием, Неммерт ответил, что он не знает, пусть Лоссиевский сам спросит у господина профессора. Тогда Лоссиевский призывает Неммерта в госпитальную контору и приказывает ему как подчиненному расписаться в принятии запечатанного пакета с надписью: “секретно”, под N… В этой бумаге заключалось следующее предписание ассистенту Пирогова:

“Заметив в поведении г-на Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю Вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Гл. д-р Лоссиевский”.

В этом рискованном coup d'ётat[5] Лоссиевского против Пирогова играл роль не экстракт белены, а то обстоятельство, что незадолго до того Пирогов осадил Лоссиевского. Буцефал вздумал написать профессору бумагу по поводу того, что он издерживает много йодовой настойки и предписывал ему заменить этот медикамент более дешевым. Пирогов письменно уведомил Лоссиевского, что тот не вправе делать ему никаких предписаний относительно действий при постели больного; если же по его мнению он расходует лекарства не по госпитальному каталогу, то ему следует обратиться с извещением к их общему начальнику, г-ну президенту Медико-хирургической академии.

Вот эта-то бумага Пирогова, а не экстракт белены, и была причиной секретного предписания Неммерту. А про экстракт Пирогов сказал Лоссиевскому, чтобы тот велел приготовлять экстракты действительно из наркотических средств, а не из золы разных растений.

Получив это предписание, Неммерт принес его к Пирогову и спросил, что ему делать. Тот направил Неммерта к президенту Шлегелю. Когда Неммерт показал Шлегелю полученное от Лоссиевского предписание, последний спросил его, улыбаясь: “Ведь вы, однако, ничего не заметили?” и сказал ему, чтобы он оставил бумагу при себе и никому не показывал.

Узнав ответ Шлегеля, Пирогов попросил Неммерта одолжить ему бумагу на один час времени, обещая ему, что это нисколько

не повредит его служебной карьере. С этою бумагой в руках он отправился к попечителю академии, дежурному генералу Веймарну и объявил ему, что подает сейчас просьбу об отставке, если всему этому вопиющему делу не будет дан ход. Веймарн, видимо смущенный, успокоил Пирогова обещанием, что завтра же будет им все улажено, если же он и тогда останется недоволен, то может дать всему делу законный ход. Вслед за уходом Пирогова Веймарн послал за Лоссиевским фельдъегеря, который и привез его в штаб. На другой день была получена бумага, в которой предписывалось Лоссиевскому в присутствии президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшего бумагу, и всех, видевших ее, членов госпитальной конторы, просить у Пирогова прощения в убедительнейших выражениях, и если Пирогов не согласится извинить дерзкий поступок Лоссиевского, то делу будет дан законный ход.

“На другой день, – рассказывает Пирогов, – меня пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась истинно позорная, и притом детски позорная сцена. Лоссиевский в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом и с поднятием рук к небу, просил у меня извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он мне никогда не даст ни малейшего повода к неудовольствию. Тут же в присутствии президента я ему показал на мерзейший хлеб, розданный больным, и заметил, что его прямая обязанность в госпитале – наблюдение за порядком, пищей и всею служебною администрацией. Тем дело о моем умопомешательстве и кончилось”.

Ассистенту Пирогова Неммерту президент Шлегель пригрозил было при Пирогове после того, как Лоссиевский извинился. Но Пирогов остановил Шлегеля, заявив, что Неммерт поступил тут как честный и благородный человек, и он не видит, за что Шлегель так несправедливо относится с выговором к Неммерту; он мог бы принять неуместный выговор Шлегеля на свой счет и не согласиться в таком случае на извинение Лоссиевского. “Шлегель прикусил язык, и с тех пор я не замечал никаких притеснений по службе”, – заканчивает знаменитый ученый свой рассказ о Буцефаловой глупости.

После этого неожиданного реприманда, которым окончилась Буцефалова глупость для ее автора, Лоссиевский и К° присмирели, и Пирогов мог спокойно заниматься своею клиникой.

“Новая хирургическая клиника сделалась высшею школой русского хирургического образования. Высокоталантливый профессор, стяжавший себе громкое имя не только в России, но и

во всей Европе, естественно, должен был действовать обаятельным образом не только на всех студентов академии, но и на молодое поколение медиков Петербурга. Этому содействовали, кроме высокого авторитета, необычайный дар преподавания и несравненная техника Николая Ивановича в производстве хирургических операций, при громадном количестве и разнообразии клинического материала. Пирогов поставил хирургическую кафедру академии на такую высоту, до которой она не поднималась ни до, ни после него" (Флоринский).

Вскоре по своем переселении в Петербург Пирогов был назначен членом медицинского совета, а позднее – членом комитета для предварительного соображения мер к преобразованию медицинской учебной части в заведениях министерства народного просвещения.

Этот временный медицинский комитет был очень удачно составлен из И. Т. Спасского, бывшего профессора Медико-хирургической академии, лейб-медика Рауха, профессоров Зейдлица и Пирогова, под председательством лейб-медика Маркуса. Министр народного просвещения С. С. Уваров передавал в этот комитет все дела и даже выборы медицинских факультетов всех университетов. Открывавшийся в то время медицинский факультет Киевского университета почти целиком учреждался и избирался этим комитетом. В названном комитете преобладал взгляд на факультетские дела не бюрократический, а научный, и все прогрессивные требования факультетов находили там и поддержку, и дальнейшее развитие. Самым важным делом Пирогова и его товарищей был пересмотр экзаменационного устава. В качестве весьма деятельного члена этой комиссии Пирогов предложил и провел целый ряд преобразований. Так, в старом экзаменационном уставе допускалось целых шесть медицинских степеней: три степени лекаря (лекарь 1-го, 2-го и 3-го отделения), доктор медицины, доктор медицины и хирургии и медико-хирург. Пирогов предложил сокращение с шести степеней на две: лекаря и доктора медицины; его проект не прошел, и вместо двух приняты были три степени (лекарь, доктор медицины и доктор медицины и хирургии). Впоследствии, рассматривая в одной из своих статей общий устав наших университетов, Пирогов указывает как на один из крупных недостатков этого устава на обилие испытаний и ученых степеней, составляющее тормоз для университетской науки.

"Я знаю, – говорит он, – по собственному опыту, как специальное совестливое и ревностное занятие наукой мало располагает человека подвергаться продолжительным и повторенным испытаниям: занимавшись специально и во время

моего пребывания в университете, и после хирургией, я никогда бы не решился подвергнуться испытанию на степень доктора медицины и хирургии, если бы от меня этого потребовали для занятия кафедры хирургии".

Стремясь сократить число испытаний и ученых степеней, Пирогов настаивал вместе с тем на бесполезности при оценке знаний разных дробей и отметок вроде: "удовлетворительно, посредственно, хорошо, отлично". Вместо таких тонких различий он предложил ввести лишь две отметки, которые при факультетских экзаменах на степень давали бы категорический ответ: *да* или *нет,* то есть достоин ли экзаменующийся искомой им степени, или недостоин.

Введение демонстрационных испытаний из анатомии, терапии и хирургии было предложено Пироговым и единогласно принято членами комитета. Новые кафедры госпитальной хирургии и терапии, учрежденные по проекту Пирогова в Медико-хирургической академии, также были приняты комитетом и утверждены министром народного просвещения для всех университетов.

Поставив преподавание хирургии в медико-хирургической академии на небывалую высоту, связав кафедру хирургии с клиникой, Пирогов не удовлетворился, однако, этим и задумал также преобразовать и преподавание анатомии введением систематических практических занятий на трупах. 21 октября 1844 года профессора Бэр, Зейдлиц и Пирогов внесли в конференцию академии предложение об учреждении особого анатомического института, которое и было высочайше утверждено 28 января 1846 года. В своем рапорте Пирогов характеризует направление своих анатомических занятий как по преимуществу прикладное и указывает на важность изучения анатомии для врачей.

"Самой высшей для меня наградой, – писал он, – я почел бы убеждение, что мне думалось доказать нашим врачам, что анатомия не составляет, как многие думают, одну только азбуку медицины, которую можно без вреда и забыть, когда мы научимся кое-как читать по складам; но что изучение ее так же необходимо для начинающего учиться, как и для тех, которым доверяются жизнь и здоровье других".

Пирогов был назначен директором новоучрежденного анатомического института. В феврале 1846 года Пирогов получил семимесячный отпуск и посетил Германию, Францию и Италию, откуда привез разные приборы и инструменты для анатомического института, между прочим – микроскопы, которых в академии до того не было, и потом принялся за устройство

анатомического института. В скором времени он пригласил на должность первого прозектора доктора Грубера, в то время занимавшего ту же должность в Пражском анатомическом институте, а впоследствии с честью заменившего Пирогова на посту директора института.

“Анатомический институт, основанный Пироговым, скоро стяжал себе громкую научную известность и получил значение истинной научной школы, давшей России целую плеяду анатомов и хирургов” (Флоринский).

Обладая до 1847 года сравнительно небольшим количеством препаратов, большею частью приобретенных за границей или подаренных частными лицами, анатомический институт получил в непродолжительном времени значение музея. Равным образом и музей патологической анатомии, можно сказать, обязан своим существованием трудам и энергии Пирогова. Когда в 1841 году вместе с лекциями по хирургии Пирогов стал читать и лекции по патологической анатомии, конференция академии поручила ему устроить кабинет патологической анатомии. Пирогов начал с того, что передал в устраиваемый им музей патологической анатомии 200 собственных препаратов, привезенных им из Дерпта. Потом он систематически собирал все представлявшиеся ему на вскрытиях интересные препараты. А вскрытий Пирогов во время своего профессорства в Медико-хирургической академии произвел около двенадцати тысяч, с составлением подробного протокола каждого вскрытия.

В новооткрытом институте Пирогов прежде всего занялся экспериментальными исследованиями анестезии при помощи эфирного и хлороформного наркоза – предмета, только что открытого и волновавшего ученых. Оперировать под наркозом, т. е. когда больной погружен в искусственный сон с потерей чувствительности, хирурги стремились с незапамятных времен. Но все попытки в этом направлении оставались безуспешны: хирурги не могли открыть свой философский камень. Почти накануне введения в хирургию эфира как анестезирующего средства знаменитый французский хирург Вельно сказал по этому поводу, что это пустая мечта, за которой не следует гоняться. “Устранение боли при операциях, – говорит он, – химера, о которой непозволительно даже думать. Режущий инструмент и боль – два понятия, не отделимые друг от друга в уме больного”. Такие мрачные взгляды на возможность безболезненных операций исповедовал Вельно в 1840 году. А в 1846 году были уже произведены операции под эфирным наркозом. Мечты хирургов оперировать без боли осуществились, и человечество обогатилось чрезвычайно важным открытием. Всюду стали появляться

исследования относительно действия эфира как болеутоляющего средства и относительно применения его в хирургической практике как анестезирующего.

Пирогов, разумеется, тоже заинтересовался этеризацией и, изучая действие эфира на животный организм, произвел ряд весьма тщательных опытов над животными, главным образом над собаками. Кроме того, он испытал действие эфира на здоровых людей и произвел 50 операций под эфирным наркозом. Работая с эфиром, Пирогов, кроме обыкновенного способа этеризации при помощи вдыхания, применял и другой, принадлежащий ему способ введения паров эфира в кишечный канал через прямую кишку. Он придумал также два прибора как для наркоза по своему способу, так и для вдыхания.

Пользуясь с успехом эфирным наркозом в госпитальной и частной практике, Пирогов возымел прекрасную мысль применить этеризацию в военно-полевой хирургии, при оказании хирургических пособий на поле сражения. В это время постоянным театром военных действий был Кавказ, и Пирогов получил командировку на Кавказ для распространения среди врачей кавказского округа этеризации как болеутоляющего средства при операциях. Кроме этой главной цели командировки, ему было поручено сообщить врачам кавказского округа все крупные усовершенствования в практике хирургических операций и осмотреть все госпитали Кавказа.

8 июля 1847 года Пирогов выехал на Кавказ. По пути, уже в Москве, он произвел несколько операций под эфирным наркозом. Прибыв на Кавказ, знаменитый хирург остановился в Пятигорске, где пробыл около двух недель. Здесь он нашел некоторый хирургический материал, подробно ознакомил врачей со способами этеризации и произвел ряд операций под наркозом. В Темирхан-Шуре Пирогов изложил собравшимся в военном госпитале врачам свои способы этеризации. Здесь так же, как и в Пятигорске, при производстве операций под наркозом присутствовали, кроме врачей, местные военные начальники и офицеры, интересовавшиеся действием эфирных паров.

В Оглах, где раненые были размещены в лагерных палатках и не было отдельного помещения для производства операций, Пирогов стал нарочно оперировать в присутствии других раненых, чтобы убедить последних наглядно в болеутоляющем действии эфирных паров. Такая наглядная система оказала весьма благотворное влияние на раненых, и они с охотой подвергали себя наркозу. Ввиду такого эффекта Пирогов допустил присутствовать и здоровым солдатам в тех же целях.

Наконец он прибыл в Самурский отряд, который

расположился у укрепленного аула Салты. Осада этого укрепления продолжалась около двух месяцев (август и сентябрь). Здесь-то Пирогов и проявил себя впервые как военно-полевой хирург.

В кавказских экспедициях врачам действующих отрядов приходилось работать под метким ружейным огнем горцев. Врачей очень часто ранили и убивали, поэтому на поле сражения невозможно было устроить правильные перевязочные пункты; раненым оказывалась только самая неотложная хирургическая помощь, а для операций отправляли в постоянные госпитали. Желая приложить этеризацию на поле сражения при больших операциях, Пирогов устроил при главной квартире отряда, находившейся вне линии обстрела, полевой лазарет. Этот крайне примитивно устроенный лазарет составляли несколько шалашей из древесных ветвей, покрытых сверху соломой. Койками служили две длинные скамьи, сложенные из камней и покрытые тоже соломой; между ними были прорыты канавы для стока воды. На этих же камнях Пирогов со своими ассистентами делал операции и перевязки, обыкновенно стоя на коленях, в согнутом положении тела. В дни штурмов приходилось так работать более 12 часов в сутки. Под Салтами Пирогов имел случай провести 100 хирургических операций с эфирным наркозом. Все время осады Салтов Пирогов прожил в солдатской палатке, без пола.

Как военно-полевой хирург Пирогов оказался изумительно активным. В этот первый дебют свой на поприще военно-полевой хирургии он был ярым сторонником ампутаций, высказывая, что врач, уступающий из неуместного человеколюбия больным в желании сохранить раздробленные члены, “несравненно более повредит им и несравненно более потеряет больных, нежели сохранит рук и ног”. Относительно транспорта раненых, условия которого Пирогов нашел печальными, он, согласно данному поручению, стал испытывать пригодность для Кавказа алжирских транспортных средств: “сидеек” и “лежалок”, прикрепляемых с обеих сторон к седлам вьючных животных. Пирогов лично сопровождал один транспорт и пришел к заключению, что алжирские транспортные средства вполне пригодны на Кавказе, и что “сидейки” и “лежалки” заслуживают предпочтения перед ручными носилками. Знаменитого хирурга в бытность его на Кавказе живо интересовали его азиатские товарищи по профессии. Туземные врачи – *гакимы* – славились своим искусством лечить огнестрельные повреждения. Пирогов довольно подробно описывает их способы лечения. Осмотрев на обратном пути госпитали и военно-лечебные заведения Кавказа, он вернулся в Петербург.

Свои исследования и наблюдения в кавказской экспедиции Пирогов изложил в нескольких статьях и трактатах. В этих трудах рассматриваются кардинальные вопросы военно-полевой хирургии: огнестрельные раны, их природа, свойства и лечение; ампутации как самое значительное и энергичное хирургическое пособие – Пирогов здесь приводит сравнительную статистику этой операции. Вопросу об анестезии отведено довольно много места, и приведена статистика всех операций, сделанных за этот период времени в России под эфирным и хлороформным наркозом. Личный опыт Пирогова составлял уже тогда до 400 наркозов эфиром и до 300 – хлороформом.

Главная цель научного путешествия Пирогова на театр военных действий, на Кавказ – применение анестезирования на поле сражения – была достигнута с блестящим успехом. “С чувством внутреннего самодовольствия, – говорит он, – можем сказать, что мы первые опытом доказали возможность приложения анестезирования на поле сражения. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле”. Надежды Пирогова блестяще оправдались: маска для хлороформирования, вытеснившего этеризацию, приобрела полное право гражданства на перевязочных пунктах. Честь введения анестезирования при оказании первой хирургической помощи раненым принадлежит всецело Пирогову и составляет самую раннюю его заслугу в военно-полевой хирургии, ознаменовавшую его первое появление на театре военных действий.

Вскоре после своего возвращения в Петербург знаменитый хирург получил приглашение к Великой княгине Елене Павловне, которую крайне интересовала цель его научной командировки на Кавказ. Вот как Пирогов описывает первую свою аудиенцию у Великой княгини и некоторые обстоятельства, случайно предшествовавшие этому, и свидетельствующие, с каким бюрократическим тупоумием относились высшие военно-административные власти к такому научному деятелю, как Пирогов.

“Никогда не забуду, – говорит он в письме к баронессе Раден, – в каком душевном расстройстве я предстал пред ней тогда, почти немедленно после официальной аудиенции у военного министра, где получил незаслуженный выговор. Утомленный мучительными трудами, в нервном возбуждении от результата своих испытаний на поле битвы, я велел доложить о себе военному министру почти тотчас по своем приезде и не обратил внимания, в каком платье я к нему явился. За это я

должен был выслушать резкий выговор насчет моего нерадения к установленной форме от г-на Анненкова (генерал-адъютант Н. И. Анненков, назначенный после смерти Веймарна попечителем Медико-хирургической академии). Я был так рассержен, что со мною приключился истерический припадок со слезами и рыданием (я теперь сознаюсь в своей слабости). После этой выходки *я решился подать в отставку и проститься с академией.* Но аудиенция у Великой княгини возвратила мне бодрость духа и так меня успокоила, что я не обратил более никакого внимания на это отсутствие такта в моем начальстве. Великая княгиня выразила мне своею любознательностью и уважением к знанию то, что выразить следовало бы главе научного заведения. Она входила во все подробности моих занятий на Кавказе, интересовалась различными результатами анестизации на поле сражения; словом, обращение Великой княгини со мною было таково, что я устыдился своей минутной слабости. Убежденный, что около трона я найду лучших судей, одаренных большим пониманием, я рассудил, что мне следует смотреть на бестактность моего начальства, как на своевольную грубость лакеев".

На следующий год после бурной деятельности военно-полевого хирурга кавказской экспедиции Пирогов принялся за совершенно мирную, но не менее трудную работу: за изучение азиатской холеры, эпидемия которой вспыхнула в Петербурге в 1848 году. Для того чтобы изучить эту тогда еще малоисследованную болезнь, Пирогов устроил в своей клинике особое холерное отделение. Его преимущественно интересовала патологоанатомическая сторона вопроса, то есть те стойкие болезненные изменения в тканях и органах тела, которые вызываются холерой. За время эпидемии Пирогов сделал более 800 вскрытий трупов холерных больных, умерших в госпитале и городских больницах. Результаты своих исследований Пирогов изложил в весьма солидном труде, носившем заглавие "Патологическая анатомия азиатской холеры" и появившемся в 1849–1850 годах на двух языках, русском и французском. За это сочинение, снабженное атласом с раскрашенными рисунками, Пирогову была присуждена Академией наук полная Демидовская премия.

Профессорская деятельность Пирогова в Медико-хирургической академии занимает 14-летний период времени, с 1841-го по 1854 год. Это было время полного расцвета сил Пирогова, время многосторонней и плодотворной научной и практической его деятельности. Занимая созданную им кафедру госпитальной хирургии, он читал вместе с тем лекции

патологической и топографической анатомии и заведовал громадною хирургическою клиникой. Как директор вызванного им к жизни анатомического института он руководил занятиями студентов и врачей и сам с увлечением разрабатывал огромный анатомический материал, находившийся в его распоряжении. В этом же институте он продолжал свои занятия экспериментальною хирургией, ставил опыты над животными. Помимо занятий по академии, Пирогов состоял еще консультантом больших петербургских больниц – Обуховской, Марии Магдалины, Петропавловской и Максимилиановской. Наконец, он имел первую хирургическую практику во всей столице.

Из ученых трудов Пирогова за петербургский период, кроме указанных выше, обращают на себя внимание его прекрасный “Курс прикладной анатомии человеческого тела” и предназначенные преимущественно для судебных врачей “Анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях человеческого тела”. Но капитальным трудом Пирогова по анатомии является его знаменитая “Топографическая анатомия по распилам замороженных трупов”. Исходя из той мысли, что обычный принятый в анатомии способ исследования (препарирование), т. е. изолирование частей друг от друга с удалением связывающей их клетчатки с помощью ножа, не дает полного и, главное, правильного представления о взаимном соотношении частей в организме, Пирогов ввел в науку новый метод анатомического исследования при помощи распилов замороженных трупов. При этом вполне сохранялись нормальное положение органов и соотношение частей. В этом своем руководстве, представляющем четыре тома таблиц и рисунков и четыре тетради текста in folio, Пирогов всесторонне применил свой метод и благодаря этому обогатил науку целым рядом ценных фактов. В своем сочинении для лучшего уяснения анатомических данных автор сплошь и рядом делает ссылки на историю развития и сравнительную анатомию, а анатомическими данными он пользуется для объяснения особенностей хода болезненных процессов в данной области тела, что дает возможность делать выводы, непосредственно приложимые к клинике. Этим трудом, до сих пор не имеющим себе равного во всей европейской литературе, Пирогов, бесспорно, создал себе монумент aere perennius.

Из трудов по хирургии на первом месте стоит изданная Пироговым на немецком языке “Клиническая хирургия”. Это – собрание монографий по вопросам клинической хирургии. В первой из них описывается операция вылущения стопы, с которою

с тех пор в хирургии связано имя Пирогова. Вторая трактует весьма интересный вопрос о трудностях хирургического диагноза и о счастье в хирургии. В третьей описывается гипсовая повязка Пирогова; четвертая и последняя представляет отчет об операциях, произведенных им в течение 1852/53 учебного года.

“Бросая общий взгляд на деятельность Н. И. Пирогова в Медико-хирургической академии, оценивая теперь издали значение его для этого учебного заведения, невольно останавливаешься на мысли, как много может сделать один человек, одаренный талантами и запасом энергии. Он, как высокий артист на сцене, не только в совершенстве исполняет свою роль, но действует возвышающим образом на окружающую среду, производит обаятельную атмосферу, в которой и другие, менее талантливые, артисты чувствуют подъем своих сил. То же самое и в духовном мире науки: один выдающийся талант может поднять репутацию целого учебного заведения более, чем десятки посредственностей. Подобное значение имел и Н. И. Пирогов. С его выходом из медицинской академии научный тон ее сразу опустился, и это произошло тем заметнее, что Пирогов, вследствие неожиданности своего выхода, не успел приготовить себе по всем отделам преподаваемых им наук достойных преемников” (Флоринский).

Официально Пирогов вышел из состава профессоров Медико-хирургической академии в 1856 г., фактически же он оставил Академию в 1854 г., когда отправился на театр военных действий в Крым.

ГЛАВА VI

Стремление Пирогова на театр военных действий. – Проект Великой княгини Елены Павловны. – Община сестер милосердия. – Отъезд Пирогова в Крым. – Прибытие в Севастополь. – Раненые под Балаклавой и Инкерманом. – Введенная Пироговым система сортировки раненых. – Докладная записка главнокомандующему Горчакову. – Второе бомбардирование Севастополя. – Главный перевязочный пункт в Дворянском собрании. – Отъезд Пирогова в Петербург. – Вторичный приезд в Крым. – Деятельность в Симферополе. – "Начала общей военно-полевой хирургии"

Россия переживала один из знаменательнейших моментов своей истории – Восточную войну. Столкновение с Турцией выросло в борьбу с могущественными державами Европы, Францией и Англией. Союзные войска вступили уже в пределы России, французские и английские пушки громили Севастополь. Центр тяжести всей кампании совершенно неожиданно перешел в небольшой приморский город. На юге России разыгрывалась вторая Илиада. Все русское общество встрепенулось, все взоры обратились к Севастополю. Каждый, по мере своих сил и возможности, старался из своего далека так или иначе принять участие в защите Севастополя.

Пирогов, имевший уже известную опытность как военно-полевой хирург, объявил себя "готовым употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле". Просьба его давно была подана, но все ходила по инстанциям. Пирогов рвался всею душой в Крым, но "буцефалов" было еще много, и они были еще в силе. И вот в то время, как в Севастополе раненые гибли тысячами, первый хирург во всей стране, европейская знаменитость, должен был просить, как милости, чтобы его послали на театр военных действий. Он уже начинал отчаиваться в успехе своей просьбы. Но совершенно неожиданно дело приняло благоприятный для него оборот. Пирогов получил приглашение к Великой княгине Елене Павловне. Она тотчас объявила ему, к великой его радости, что взяла на свою ответственность разрешить его просьбу. Затем она объяснила знаменитому хирургу свой замечательный план организовать женскую помощь раненым и больным на поле битвы – причем предложила Пирогову самому избрать медицинский персонал и взять управление всем делом на себя. К вечеру того же дня Великая княгиня прислала ему собственноручную записку с известием,

что просьба его принята.

Чтобы правильно оценить всю ту массу добра и благодеяния, которую должен был принести несчастным севастопольским страдальцам проект Великой княгини Елены Павловны, нужно знать, что такое умелый женский уход за больным. Об этом может судить лишь тот, кто знаком с деятельностью сестер милосердия не понаслышке. Каждый врач, которому приходилось работать с сестрами милосердия, должен преклониться перед этим институтом. Здесь ярко выступают все лучшие стороны женской натуры: “сестричка” окружает больного атмосферой нежной заботливости, проникнутой сердечным сочувствием к его горю и страданиям, она умеет угадывать и предупреждать желания больного, она терпеливо выслушивает его бесконечные жалобы и всегда находит в своем женском лексиконе слово утешения, она умеет внушить ему бодрость и заставить забыть его беспомощность. Таково благотворное нравственное влияние сестры милосердия на вверенного ее попечениям больного. С другой стороны, мягкость движений при манипуляциях над больным, прирожденная ловкость движений, чистоплотность, аккуратность и исполнительность делают такой женский уход за больным идеальным. Сестра милосердия является благодаря этому незаменимою помощницей для врача, в особенности для хирурга. К этому присоединяются еще поражающие каждого наблюдателя выносливость и неутомимость в работе сестры милосердия, как выражение эластичности женской натуры.

Женский уход в больницах тогда уже существовал и в Европе, и у нас. Но о том, чтобы женщины заботились о раненых и больных на самом театре военных действий, на перевязочных пунктах и в полевых лазаретах, ближайших к полю сражения, никто не помышлял. Эта смелая и совершенно новая мысль впервые возникла во время Крымской кампании у Великой княгини и великой женщины Елены Павловны. Просьбами Елене Павловне удалось склонить императора Николая Павловича к допущению такого неслыханного эксперимента. Великая княгиня обратилась с воззванием к патриотизму русских женщин и собственной рукой в госпитальной клинике Пирогова наложила повязку на оперированного, чтобы доказать, что подобного рода помощь ближнему не может иметь ничего предосудительного. На призыв Великой княгини откликнулись русские женщины, и из всех слоев общества явились желавшие самоотверженно принять на себя высокие и трудные обязанности сестер милосердия. Великою княгиней была основана “Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных”. “Первым крестовоздвиженским сестрам, – говорит Пирогов, – пришлось

прямо идти в огонь страшной Крымской войны". Вести их в этот огонь и руководить их деятельностью Великая княгиня и предложила Пирогову. Принимая это предложение, Пирогов был убежден, что нравственный контроль сестер милосердия, благодаря женскому такту, их чувствительности и независимому от служебных условий положению гораздо действеннее может влиять на отвратительные злоупотребления госпитальной администрации, чем разного рода официальные комиссии. А какова была эта администрация в Крымскую кампанию и что творилось в госпиталях Севастополя в начале войны, это нам достаточно рисует одна маленькая фраза, сказанная впоследствии Пироговым казанскому профессору Н. О. Ковалевскому. "В то время, когда вся Россия щипала корпию для Севастополя, – говорит он, – корпией этою перевязывали англичане, а у нас была только солома".

Новое учреждение, вызванное к жизни Великою княгиней, было встречено соответствующими административными сферами не особенно сочувственно. Люди старого закала предвидели, что этим может быть подорвано ненасытное хищничество госпитальной администрации. Как единственный аргумент против нового института эти "старые грешники", по выражению Пирогова, позволяли себе делать различные двусмысленные намеки. Но вскоре самоотверженная деятельность сестер заставила всех противников преклониться перед ним. "И замечательно, – говорит он, – что самые простые и необразованные из них выделяли себя более всех своим самоотвержением и долготерпением в исполнении своих обязанностей". Одна из таких сестер посещала по собственному желанию наши форты и была известна как героиня. Она помогала раненым на бастионе под самым огнем неприятельских пушек. Многие сестры были контужены и ранены. Роль руководителя молодой общины, которую взял на себя Пирогов, была не из легких. Первый выбор большей части сестер не мог, конечно, по тогдашним обстоятельствам быть вполне удачным. Они были набраны преимущественно в Петербурге, притом с большой поспешностью. Пирогову приходилось входить в различные женские дрязги, устранять столкновения, мирить и прочее. "Община сестер милосердия, – замечает справедливо Пирогов, – почти, можно сказать, была сымпровизирована бедствиями военного времени и поэтому имела свои слабые стороны". Несмотря на эти недостатки, знаменитый хирург, в общем, с восторгом отзывается о деятельности сестер. Такой же отзыв дает о деятельности сестер и киевский профессор Гюббенет:

"Только очевидец, – говорит он, – мог составить себе верное

понятие о самоотвержении и героизме этих женщин. С редким мужеством переносили они не только тяжкие труды и лишения, но и явные опасности. Они выдержали бомбардирование с геройством, которое сделало бы честь любому солдату. На перевязочных пунктах и в госпитале они продолжали делать перевязки раненым, не трогаясь с места, несмотря на то, что бомбы то и дело летали кругом них и наносили присутствующим тяжелые раны".

Наконец, в октябре 1854 года Пирогов с отрядом врачей выехал в Крым. Вслед за ним был послан отряд сестер милосердия в составе 28 человек с начальницей Стахович.

Назначение Пирогова в Крыму состояло, по словам профессора Гюббенета, в том, чтобы устроить надлежащим образом хирургическую часть, чтобы сортировать и отделять разнородные случаи ран, чтобы высказать свое мнение относительно важнейших недостатков и несообразностей в деле призрения больных и своим авторитетом и неутомимою деятельностью поднять и довести его до возможной степени совершенства. Тут представилось его дарованиям широкое поле для введения новых способов операций и открылась для него возможность уяснить значение многих явлений при лечении ран.

В первой половине ноября Пирогов прибыл в Севастополь.

"Я никогда не забуду, – рассказывает он, – моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил как из ведра, больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших волов и лопались с треском; слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о судьбе наших больных; предчувствие было неутешительно. Оно и сбылось".

Вся масса раненых отправлялась из Севастополя главным образом в Симферополь, составлявший узловой пункт всех дорог от осажденного города. Госпитальных помещений Симферополя не хватило на огромное количество раненых, и последние были размещены в оставленных казенных зданиях и частных домах. Несчастные, наполнявшие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, на грязном полу, без всякого присмотра. Воздух был страшно испорчен. Недоставало

людей, чтобы хоть немного привести этот невообразимый хаос в порядок. Для того чтобы упорядочить положение этих несчастных и уход за ними, Пирогов оставил первую партию сестер в Симферополе и занял этих сестер госпитальным уходом.

Прибыв в Севастополь, Пирогов ввиду наступившего затишья в осаде занялся разборкой раненых под Инкерманом, находившихся в севастопольских госпиталях в числе около 1500 человек. Здесь он впервые стал применять свою гипсовую повязку для поврежденных конечностей, которые можно было надеяться спасти и сохранить, не прибегая к ампутированию.

С самого начала осады главный перевязочный пункт был устроен в прекрасном по архитектуре и положению на берегу залива доме Севастопольского дворянского собрания. Просторные, изящно отделанные танцзал, буфет и бильярдная комната собрания были превращены в операционные и перевязочные.

“До этой минуты, – рассказывает Пирогов, – мне не случалось почти совсем быть в столкновении с обер-медиками; но когда я взял на себя попечение о главном перевязочном пункте и о всех госпиталях, сейчас же начались разные контры между мною и администрацией. Теперь никто не может себе представить всю отвратительность и тупоумие тогдашнего официального администрировавшего медицинского персонала. Эти господа сразу смекнули, куда поведет учрежденный мной нравственный присмотр и контроль административного попечения над руководителями госпитальных порядков. Дела эти поручены были мной сестрам, женщинам и моим собственным помощникам. Это смутило господ администраторов, и они стали громко роптать на превышение власти с моей стороны, и только благодаря благосклонному вниманию генералов Сакена и Васильчикова я обязан тем, что несмотря на все интриги за сестрами был удержан весь надзор в госпиталях. К. М. Бакунина вела все дела присмотра за уходом больных с таким тактом, энергией и совестливостью, что полученный успех оказался блестящим и для всех здравомыслящих людей неоспоримым.

Все, что удерживали и не выдавали, и теперь еще старались удерживать; но Бакунина, пунктуально исполняя мои и других медиков предписания, настоятельно вытребовала недоданное. Неудивительно, что подобное вмешательство и такая деятельность женщин не могли быть приятны господам командирам и официальным инспекторам”.

Пирогов первым выработал прекрасную систему сортировки раненых в тех случаях, когда они поступали на перевязочный пункт сотнями. До того на перевязочных пунктах господствовал

страшный беспорядок и хаос. Система Пирогова состояла в том, что прежде всего раненые разделялись на четыре главные категории. Первую группу составляли смертельно раненные, безнадежные, которые поручались священнику и сестрам милосердия; этим страдальцам сестры старались доставлять последний уход и предсмертные утешения. Во вторую категорию входили раненые, требующие безотлагательной помощи тут же на перевязочном пункте. Третья категория обнимала собой тех, которые подлежали операциям на следующий день или позднее, а пока, следовательно, должны были быть отправлены в госпиталь. Наконец, четвертая категория включала в себя легкораненых, которых перевязывали и отправляли обратно в части. Благодаря введению такой весьма простой и разумной сортировки рабочие силы не разбрасывались и дело помощи раненым шло быстро и толково.

Во второй половине февраля произошла смена главнокомандующего. Место князя Меньшикова заступил князь Горчаков. Как только Горчаков прибыл в Севастополь, Пирогов подал ему докладную записку, в которой доказывал, что “мы теперь так же мало приготовлены принять и устроить большое число раненых, как и в начале осады после Инкерманского сражения”, и предложил две главные и, по его убеждению, единственные меры для предупреждения подобного неустройства. Первою мерой должна была служить совершенная эвакуация городских госпиталей путем беспрерывной транспортировки. Второй необходимой мерой являлось устройство госпитальных палаток на безопасном месте, на Северной стороне. Далее в докладной записке Пирогов указывает на то безотрадное медицинское положение нашей армии, которое достигало геркулесовых столбов неустройства. Так, например, на требование хины и хинина, отправленное в Херсон в декабре 1854 года, не было еще никакого ответа в марте 1855 года! В декабре 1854 года при сильном морозе и самой бурной погоде перевозили больных и раненых в татарских арбах в Симферополь и Перекоп, непокрытых, без шуб, ночуя под открытым небом. Такие транспортировки продолжались от 10 до 12 дней.

Между тем военно-медицинская администрация находила, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, и генерал-штаб-доктор Шрейбер, “хотя уже седой и рябоватый, видел все в розовом свете”.

В течение февраля были заложены наши передовые редуты: селенгинский, волынский и камчатский. Это давало повод к очень жарким ночным стычкам. В это время Пирогову приходилось и жить, и работать под пушечными выстрелами в буквальном и

ужасном смысле этих слов. Крыша дома, где он жил, была пробита бомбой. Эта сторона дела не имела, однако, никакого влияния на расположение духа Пирогова. Напротив, он был тем более расположен к беседам и шуткам, чем кровавее и утомительнее была работа на перевязочном пункте. Наступили грозные дни второй бомбардировки Севастополя (с 28 марта по 8 апреля). Пирогов со своими помощниками переехал на постоянное жительство в Дворянское собрание. Все это время Пирогов и его помощники, не раздеваясь, оставались беспрерывно на перевязочном пункте. Во время этой бомбардировки число раненых, прошедших через руки Пирогова, доходило до пяти тысяч. Вот как он сам описывает главный перевязочный пункт в Дворянском собрании:

“В течение девяти дней мартовской бомбардировки беспрестанно тянулись ко входу ряды носильщиков; вопли вносимых смешивались с треском бомб; кровавый след указывал дорогу к парадному входу Собрания. Эти девять дней огромная танцевальная зала Собрания беспрестанно наполнялась и опоражнивалась; приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшеюся кровью; стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряжающихся – громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными и раздробленными членами, бледных как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами. На трех столах кровь лилась при производстве операций; отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах. За столами стоял ряд коек с новыми ранеными, и служители готовились переносить их на столы для операций; возле порожних коек стояли сестры, готовые принять ампутированных.

Ночью при свете стеарина те же самые кровавые сцены, и нередко в еще больших размерах, представлялись в зале Дворянского собрания. В это тяжелое время без неутомимости врачей, без ревностного содействия сестер, без распорядительности начальников транспортных команд не было бы никакой возможности подать безотлагательную помощь пострадавшим за отечество. Чтобы иметь понятие о всех трудностях этого положения, нужно себе живо представить темную южную ночь, ряды носильщиков, при тусклом свете фонарей, направленных ко входу Собрания и едва прокладывавших себе путь сквозь толпы раненых пешеходов, сомкнувшихся в дверях его. Все стремятся за помощью и на

помощь, каждый хочет скорого пособия, раненый громко требует перевязки или операции, умирающий – последнего отдыха, все – облегчения страданий. Где можно было бы без деятельных строгих мер, без неусыпной деятельности найти достаточно места и рук для оказания безотлагательной помощи".

Некоторое наглядное представление о той "неусыпной деятельности", которую проявил Пирогов в Севастополе, читатель может себе составить, если мы ему скажем, что одних ампутаций произведено Пироговым лично или под его наблюдением до 5000, тогда как без его участия сделано было всего только около 400. Но эта деятельность не только не встречала сочувствия и поддержки, но вызывала сильнейшее противодействие со стороны военно-медицинской администрации, для которой Пирогов являлся своего рода enfant terrible. "Вот почему он из Севастополя не вышел тем колоссом гениальности, ума и самоотвержения пред правительством и народом, каким он действительно был". (Генрици. Воспоминания о восточной войне. – "Русская старина", 1877–1878 гг.).

А какие ужасные моменты приходилось переживать Пирогову как человеку и хирургу, которому дороги его оперированные, можно судить по следующему возмутительному факту безграничной небрежности военной администрации. В одну ночь в апреле 1855 года Пирогов получил приказание из штаба перевести всех раненых и ампутированных числом 500 человек после второй бомбардировки города из Николаевской батареи на Северную сторону. Пирогова уверили, что там все уже приготовлено для их приема; сам он не имел времени отлучиться с перевязочного пункта, куда постоянно подносили свежих раненых. Оказалось на деле, что там, куда повезли этих раненых, не существовало даже никакого приготовленного здания для их принятия.

"И вот, – рассказывает Пирогов, – всех этих тяжелых свалили зря, как попало, в солдатские палатки… До сих пор с леденящим ужасом (писано в 1876 году) вспоминаю эту непростительную небрежность нашей военной администрации. Но этого было мало! Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними. Несчастные так и валялись в грязных лужах. Можно себе представить, каково было с отрезанными ногами лежать на земле по три и по четыре вместе; матрацы почти плавали в грязи, все под ними и около них было насквозь промочено; оставалось сухим только то место, на котором они лежали, не трогаясь, но при малейшем движении им приходилось попадать в лужи. А когда кто-нибудь входил в эти палатки-лазареты, то все вопили о

помощи, и со всех сторон громко раздавались раздирающие, пронзительные стоны и крики, и зубовный скрежет, и то особенное стучание зубами, от которого бьет дрожь. Врачи и сестры могли помогать не иначе, как стоя на коленях в грязи. По двадцати и более ампутированных умирало каждый день, а их было всех до 500. От 10 до 20 мертвых тел можно было находить меж ними каждый день, и немногие из них пережили две недели после этой катастрофы".

1 июня 1855 года больной, измученный физически и нравственно, Пирогов уехал из Севастополя в Петербург.

6 июня союзные войска решили произвести штурм Севастополя. С громадными потерями этот первый штурм был отбит. Опять наступило затишье. Положение Севастополя делалось отчаянным. Тотлебен, русский Вобан, как его называли французы, был ранен, а душа Севастопольской обороны Нахимов был убит. Малахов курган, ключ к Севастополю, на котором в самом начале осады пал Корнилов, в конце ее сделался могилой для Нахимова. Сражение при Черной речке (4 августа) послужило толчком к усилению неприятельских действий против осажденного города. 24 августа началась так называемая шестая бомбардировка Севастополя, а 27-го неприятель пошел на штурм и овладел Малаховым курганом. Это решило участь Севастополя. В ночь на 28 августа город был оставлен, все эвакуированы на Северную сторону.

Отдохнув несколько летом в Ораниенбауме, Пирогов в сентябре снова вернулся в Севастополь, где застал множество раненых после штурма Малахова кургана. Несчастные кучами лежали в палатках на Северной стороне. Других приготовляли к отсылке в Симферополь или в Бахчисарай. Теперь весь вопрос попечения о раненых и больных сводился к дальнейшему их транспорту из Симферополя, куда всех раненых направляли прежде всего. В этом пункте скопилось свыше 13 тысяч больных и раненых. В городе не хватало места, и в госпиталях его царствовал такой беспорядок, что в результате последовало Высочайшее назначение следственной комиссии.

Пирогов перенес свою деятельность из занятого неприятелем Севастополя в Симферополь и старался всеми силами упорядочить госпитальный уход за больными и их дальнейший транспорт. Для помещения больных были построены бараки из досок, лишенные всяких удобств, не имевшие даже полов, вследствие чего в них постоянно поднималась невозможная пыль. Бараки эти не защищали больных ни от холода, ни от дождя. И бараки и квартиры для сестер милосердия были холодны, сыры и совершенно не имели вентиляции. Госпитальная же

администрация во главе со своим начальником генералом Остроградским, как всегда, желала, чтобы врачи находили всё удовлетворительным, и очень неохотно отпускала дрова, теплую одежду и горячую пищу.

“Я должен был, – рассказывает Пирогов, – неустанно жаловаться, требовать и писать. При этом частом писании мне невозможно было всегда обдумывать слова и выражения, какие считаются уместными в официальных бумагах, и чрез это несколько раз выходили неприятности. Некоторые мои выражения в письменных моих просьбах оказались “несоответственными” или недостаточно вежливыми. Особенно обидчивым на этот счет показал себя начальник госпитальной администрации, г-н Остроградский. Однажды после неоднократных и напрасных моих просьб к нему о том, чтобы он снабдил нас дровами для отопления наших ледяных бараков и помещений сестер, Остроградский напал на одно мое “неприличное выражение” в письме (“имею честь представить на вид”) и пожаловался на меня князю Горчакову, и вследствие этой жалобы мы дров не получили, но я зато получил резкий выговор от Горчакова”.

Организация транспорта раненых и больных находилась в весьма неприглядном положении. Транспортируемые глубокою осенью и зимой за 400, 500 и даже 700 верст раненые и больные зачастую гибли во время продолжительной перевозки, лишенные всякого ухода, или же платились своими конечностями. Больными с отмороженными в транспортах ногами были переполнены крымские госпитали.

Для того чтобы обставить по возможности лучше транспорт раненых, которых отправляли из Симферополя в Перекоп, Екатеринослав и Берислав, Пирогов устроил особое транспортное отделение сестер со старшей Бакуниной. Сестры милосердия должны были сопровождать транспорты и вести особые путевые журналы.

Крымская война легла мрачной и гнетущею тучей на отзывчивую душу Пирогова. Среди массы тяжелых, страшных и возмущающих душу впечатлений, пережитых Пироговым в десятимесячное пребывание в Крыму, когда каждый месяц казался годом, одним из немногих светлых лучей являлась трогательная и самоотверженная деятельность русской женщины – сестры милосердия. Лишь по прошествии 10 лет, когда Пирогов жил за границей, он нашел возможным в своих “Началах военно-полевой хирургии” поделиться со своими товарищами по науке теми наблюдениями и тем богатым запасом опыта, который он вынес из-под стен Севастополя. Десять лет понадобилось

Пирогову для того, чтобы sine ira et studio воскресить в своей памяти пережитое и объективно оценить его. Не входя в подробный разбор этого классического труда как слишком специального, мы остановимся лишь на некоторых вопросах, представляющих более общий интерес. Сюда относится организация помощи раненым.

“В военное время, – писал Пирогов, – почти нет возможности правильно распорядиться нашими пособиями. То нет довольно рук, то нет у рук головы, то встречаем, когда не нужно, избыток, а когда нужно, недостаток лиц, необходимых для самых главных пособий. Поэтому врач, получая на свое попечение раненых, должен прежде всего действовать административно, а потом – врачебно”.

Мысль эту Пирогов и осуществил в принятой им сортировке раненых, о которой мы уже говорили выше и которая практиковалась им на перевязочных пунктах и при приеме больших транспортов. Что касается дальнейшей судьбы раненых, то Пирогов, считая крайне неблагоприятным скопление громадного числа больных и раненых вблизи театра военных действий в районе расположения действующих войск, предложил систему рассредоточивания, то есть раненых после битвы, как можно скорее, рассредоточивать и отделять, размещая их в близлежащих деревнях и городах. Эта система была применена пруссаками с блестящим успехом во франко-прусскую войну. Касаясь другого вопроса, весьма важного, а именно – наиболее полной научной обработки медицинских наблюдений на войне, Пирогов еще за год до Женевской конвенции предлагал сделать медицину во время войны нейтральной.

“Военные врачи воюющих держав, – читаем мы в “Началах военно-полевой хирургии”, – должны быть членами одного общего врачебно-статистического комитета… Воюющие стороны могут согласиться и в том, чтобы доставлять врачам все средства, служащие к разъяснению научных вопросов, интересующих все человечество, и устранить по возможности препятствия к взаимным совещаниям и корреспонденциям врачей, а врачи обеих сторон в свою очередь должны быть обязаны честным словом и присягой не злоупотреблять данною им свободой действий”.

Эта мысль о научном общении врачей воюющих сторон так занимала Пирогова в Крымскую кампанию и он так много говорил об этом, что в Севастополе сложилась легенда, будто бы Пирогов ездил в неприятельский лагерь на небывалую консультацию.

По возвращении из Крыма в декабре Пирогов вскоре оставил кафедру хирургии в Медико-хирургической академии. Что

Пирогов не “оставил и не изменил хирургии”, это он блестящим образом доказал своими классическими “Началами общей военно-полевой хирургии”. Он доказал это также, откликнувшись немедленно на приглашение Красного Креста посетить и осмотреть военно-санитарные учреждения в франко-прусскую войну 1870 года и на вторичное приглашение того же Общества осмотреть военно-врачебные учреждения нашей армии в 1877 году. От второй, крайне утомительной поездки Пирогова не мог удержать и его возраст – а было ему уже 67 лет. Это не было “изменой” с его стороны. Это было sйparation du corps,[6] в котором на долю Пирогова выпала, быть может, страдательная роль.

Эти соображения невольно просятся на перо, если вспомнить, например, о приеме, встреченном Пироговым по возвращении с Кавказа, и о некоторых других аналогичных эпизодах его служебных отношений. Во весь петербургский период деятельности Пирогову приходилось постоянно вести мелкую и бесплодную войну. Он *был* и *желал быть* хирургом и профессором хирургии, но он не умел и не желал ни *быть,* ни *казаться* чиновником хирургии.

Пирогов – человек науки – был человеком кабинета, но не был человеком салона.

Неожиданное оставление им кафедры хирургии в Медико-хирургической академии было тяжелым ударом для развития хирургии в России. Пирогов имел все данные для того, чтобы создать многочисленную школу хирургов из своих учеников.

Восточная война кончилась. “Русская Троя” – Севастополь – лежала в развалинах. Пирогов, привыкший вдумываться в самые мелкие факты, в глубоком раздумье остановился перед только что завершившейся исторической драмою. Но не с точки зрения той специальной роли, которая выпала на его долю, не с точки зрения той науки, свой опыт и знания в которой он самоотверженно прилагал в осажденном городе! Врач и хирург уступил в нем место патриоту и мыслителю. Наряду с “огромными, зловонными ранами, заражающими воздух вредными для здоровья испарениями”, Пирогова поразили другие не менее зловонные, не менее огромные и не менее заражающие воздух язвы нравственного организма русского общества. Не вопросы хирургии, не вопросы лечения ран физических, а вопросы лечения язв нравственных, “вопросы жизни” общества заняли ум Пирогова. Над этими вопросами он думал в долгие и безотрадные месяцы Севастопольской осады, сталкиваясь с людьми, готовыми пожертвовать общественными интересами для своей личной пользы. Как Диоген, искал Пирогов людей, а находил вместо них

далеко не безупречных чиновников. В чем крылась причина этого печального явления, обнаружившегося во всем своем безобразии в крымскую кампанию? Как помочь этому горю? Вот вопросы, на которые Пирогов стал искать ответа.

Участием Пирогова в Крымской войне закончилась его официальная хирургическая деятельность. Севастополь – вот последняя страница блестящего и многостороннего периода служения Пирогова хирургической науке в роли наставника и клинициста.

ГЛАВА VII

“Морской сборник”. – “Вопросы жизни”. – Назначение попечителем в Одессу. – Первое посещение нового попечителя. – Отношение к учителям и ученикам. – Литературные беседы. – Популярность Пирогова среди гимназистов. – Попечитель-доктор. – Ришельевский лицей. – Сотрудничество в “Одесском вестнике”. – “Быть и казаться”. – Причины оставления Одессы

После Крымской войны для России настала новая эра. Наступило время обновления общества: “шкурные” интересы заменились интересами высшего порядка. Если припомнить то время, если снова вдохнуть его воздух, то станет понятно, что такие люди, как Пирогов, не могли молчать, а, заговорив, не могли этим ограничиться. Пирогов и заговорил со страниц “Морского сборника” с русским обществом об одном из кардинальных “вопросов жизни” – о воспитании.

Современные читатели не должны удивляться, что статья Пирогова появилась в органе такого специального ведомства, как морское. Сам этот журнал, в котором была напечатана первая публицистическая статья Пирогова, может служить прекрасною иллюстрацией веяний того времени.

Издававшийся с 1848 года при морском министерстве журнал “Морской сборник”, носивший характер скромного специального органа и предназначенный для небольшого числа обязательных подписчиков, совершенно изменил свою программу ко времени Восточной войны и стал расходиться в большом количестве экземпляров; в нем сотрудничали такие ученые, как Ленц, Бэр, Струве. Здесь появились прекрасные произведения Максимова, Потехина, Данилевского, Островского, Писемского, Афанасьева-Чужбинского и других писателей, командированных морским министерством в 1856 году для собирания точных и подробных сведений о населении приморских и речных областей России. Эта удачная мысль, подарившая русской литературе художественные описания, принадлежала стоявшему во главе морского ведомства Великому князю Константину Николаевичу, благодаря инициативе которого “Морской сборник” сделался проводником гуманных реформ того времени. В “Морском сборнике” намечались неотложные реформы, которые правительство предполагало ввести. Неудивительно, что к голосу “Морского сборника” прислушивалась вся остальная пресса, которая только развивала взгляды его. Ввиду предстоявшего преобразования

военно-морских учебных заведений морской ученый комитет открыл страницы “Морского сборника” для обмена мыслей по вопросу о воспитании вообще. Наконец, неофициальными статьями “Морского сборника” о воспитании были выведены на свет отрывки из забытых бумаг – “Вопросы жизни” – Пирогова (“Морской сборник”, июль, 1856 г., т. XXIII, № 9). Имя Пирогова, разумеется, говорило за то, что статья будет прочтена со вниманием. Эффект ее был чрезвычайный. По свидетельству Стоюнина и других современников, Пирогов, видевший в Севастополе результаты господствовавшей системы воспитания, отнесся к ней со всей беспощадной правдивостью и воочию показал всю ее несостоятельность. Даже теперь, спустя почти 40 лет, “Вопросы жизни” не утратили своего значения и читаются с полным интересом.

В издании сочинений Пирогова 1887 года “Вопросы жизни” подверглись большим купюрам и вставкам, значительно изменяющим первоначальный вид этой статьи. Пирогов ищет и не находит ответа в жизни на те проклятые вопросы о цели жизни, которые в наше время опять поставил и не разрешил Лев Толстой.

“Общественный хирург”, по удачному определению Стоюнина, нашел, что и теперь все осталось “яко же бо бысть в дни Ноевы”. В древности, по крайней мере, люди были последовательны и жили так, а не иначе, по известным убеждениям, которые могли быть ложны, ошибочны, но все-таки это были убеждения, основанные на учениях различных философских школ. В XIX же веке, вступая в жизнь, задаваясь “столбовыми вопросами”, мы оказываемся вполне несостоятельными перед ними, потому что мы *не воспитаны.* Конечно, масса живет по инерции, следуя толчку, заданному обществом; но есть еще жизнь индивидуальная, жизнь “в себе”, не совпадающая с направлением среды. Остается приспосабливаться к обществу или бороться с ним. Дилемма эта разрешается по-разному.

Дело в том, что все общество, по убеждению Пирогова, представляет одну огромную инертную толпу и несколько меньших, придерживающихся самых разнообразных взглядов на жизнь. Таких взглядов автор насчитывает восемь.

Одни советуют не думать много, потому что, думая, можно потерять аппетит и сон. Взгляд, как видите, простой и привлекательный. Более высокий взгляд – это совет много читать и учиться, вообще поумнеть, а ум уже подскажет, куда идти. Далее следует взгляд старообрядческий, по выражению Пирогова, рекомендующий строго соблюдение постов и молитвы. По взгляду иных людей-практиков, можно жить и без убеждений,

лишь бы иметь полный карман. На такой же практической подкладке построен взгляд, что следует уживаться с людьми и соблюдать декорум, а думать – Gedanken sind zollfrei (каждый волен думать, что хочет). Существует, однако, и пессимистический взгляд, который говорит, что, не зная, откуда взялся, человек умрет, не зная, зачем жил. Зато имеется в запасе и беспечный взгляд – пользоваться настоящим – лозунг времен регентства, прибавим мы.

Наконец, к практическим взглядам на жизнь относится и взгляд "благоразумный", в силу которого следует выбрать себе наиболее выгодную и подходящую роль в практической жизни, не задаваясь при этом никакими теоретическими стремлениями.

Обыкновенно вступающие в жизнь примыкают к какому-нибудь из этих взглядов и на этом успокаиваются, утрачивая с летами "всякую наклонность переменить или перевоспитать себя".

Если бы так всегда и оканчивалось, то общество оставалось бы, как уже сказано, вечно разделенным на одну огромную толпу и несколько меньших. Все бы спокойно забыли то, о чем толковало воспитание. "Воспитание сделалось бы продажным билетом для входа в театр". Однако люди, родившиеся "с притязаниями на ум и чувство", не могут оставить "без сожаления и ропота высокое и святое". Они слишком совестливы, разборчивы в путях. Они ищут проложить новые пути. Многие падают в этой внутренней борьбе. В свою очередь, и сами взгляды, руководящие обществом, не отличаются законченностью и допускают всевозможные дальнейшие вариации. Все это не служит, конечно, к единению. Из этого положения можно выйти тремя путями: 1) согласовать воспитание с торговым направлением общества, 2) переменить направление общества, 3) приготовить воспитанием к жизненной борьбе, к неравному бою. Первый путь – неверный, иезуитский, которому Пирогов нисколько не сочувствует. Второй – вопрос будущего. Остается третий, который и значит сделать нас *людьми,* чего не достигнет ни одна реальная школа, стремящаяся сделать *"с самого раннего детства"* негоциантов, моряков и так далее.

Больше всего возмущает Пирогова, что реальное воспитание прилагается в самом детском возрасте. Ведь начатки образования во всех школах те же, и тогда незачем отдавать детей именно в реальные школы. Если же иные, то практическая сторона совершенно заслонит нравственную, для культивирования которой не будет времени.

"Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку, – просит Пирогов, – наружный успеет еще действовать. Выходя позже, он

будет, может быть, не так сговорчив и уклончив, но зато на него можно будет положиться: не за свое не возьмется. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у вас будут люди и граждане".

Чтобы не возникло мнение, будто он предлагает закрыть и уничтожить реальные и специальные школы, Пирогов восстает против тех двух крайностей, что родители самоуправно распоряжаются участью детей и что реально-специальные школы принимаются за воспитание тех возрастов, для которых общее человеческое образование несравненно существеннее всех практических приложений. "Уже давно оставлен варварский обычай выдавать дочерей замуж поневоле, а невольный и преждевременный брак сыновей с их будущим поприщем допущен и привилегирован; заказное их венчание с наукой празднуется и прославляется, как венчание дожа с морем". Можно получить специально-практическое образование не в ущерб общему человеческому.

"Вникните и рассудите, отцы и воспитатели! – взывает далее Пирогов. – Все должны сначала научиться быть людьми. Все до известного периода жизни, в котором ясно обозначаются их склонности и их таланты, должны пользоваться плодами одного и того же нравственно-научного просвещения. Недаром известные сведения исстари назывались *humaniora,* то есть необходимые для каждого человека. Эти сведения остаются навсегда теми же светильниками на жизненном пути и древнего, и нового человека".

Прекрасно сознавая всю необходимость специализации при современных успехах наук и искусств, Пирогов, тем не менее, считает, что "никогда не нуждались истинные специалисты так сильно в предварительном общечеловеческом образовании, как именно в наш век. Односторонний специалист есть или грубый эмпирик, или уличный шарлатан". В устах такого специалиста, как Пирогов, подобные слова приобретают особое значение.

Спрашивается, как приготовить детей к неизбежной борьбе, которая им предстоит? "Каков должен быть атлет, приготовляющийся к этой роковой борьбе?" Он должен иметь хоть какое-нибудь притязание на ум и чувство, не уклоняясь, однако, чересчур в сторону грубого материализма и холодного разума, отвечает Пирогов. "Скажут, что это общие риторические фразы. Не требуйте от меня большего; больше этого у меня нет ничего на свете",– вырывается у Пирогова. "Пусть ваши педагоги сделают из моих и ваших детей то, чего я так искренно желаю, и я

обещаюсь никого не беспокоить риторическими фразами, а молчать, – не без иронии заверяет Пирогов. – Поверьте мне. Я испытал эту внутреннюю роковую борьбу, к которой мне хочется приготовить исподволь и заранее наших детей; мне делается страшно за них, когда я подумаю, что им предстоят те же опасности". От этой борьбы не спасает и та дрессировка, которая господствует в школе и которой Пирогов посвящает чрезвычайно образные и справедливые строки.

Статья Пирогова обратила на себя внимание тогдашнего министра народного просвещения Норова, который и предложил ему занять место попечителя Одесского учебного округа. Знаменитый хирург принял это предложение и 3 сентября 1856 года был назначен исправляющим должность попечителя. Знакомые с взглядами Пирогова на воспитание, взглядами, вылившимися в "Вопросах жизни", согласятся, что он был подготовлен к принятой на себя задаче практического проведения своих взглядов – и по личным качествам, и по опыту, и по образованию. "В моих глазах попечитель есть не столько начальник, сколько миссионер", – говорит он позднее. И действительно, Пирогов миссионерствовал – сперва в Одессе, затем в Киеве.

Когда Пирогов явился в Одессу, он застал там ужасные порядки в учебных заведениях.

"В то время, когда Пирогов был назначен попечителем, – вспоминает на страницах "Русской старины" тогдашний гимназист, – в низших и среднеучебных заведениях (до IV класса) царила розга. Кроме розги практиковалась и кулачная расправа. Во второй одесской гимназии с этой стороны приобрел знаменитость учитель немецкого языка в низших параллельных классах Андриясевич… Кровь на лице, шишки на голове (он очень метко бросал мелом), клок выдернутых волос – таковы вещественные результаты часового пребывания Андриясевича в классе немецкого языка… Разумеется, и десятая часть подвигов этого наставника осталась неизвестною Пирогову; но достаточно было и немногого, чтобы Пирогов попросил его убраться" (Добров).

Естественно, что приезда нового попечителя ожидали с нетерпением, иные – с трепетом. Говорили, что новый начальник – человек крутой, резкий, с манерами грубыми, не то что покладистый мягкий Княжевич, бывший попечитель. Административные лица учебного ведомства заранее уже побаивались его.

"Однажды, – читаем мы в воспоминаниях Доброва, – сидим мы на уроке латинского языка; двери бесшумно отворяются, и

входит небольшая, слегка сутуловатая фигура в широком пальто-сюртуке. В первое мгновение ученики не обратили внимания и оставались сидеть на своих местах; только слегка вытянувшаяся фигура учителя Протопопова и появление за спиной новой личности – директора Шершеневича – с выражением торжественности на застывшем лице дало нам понять, что это и есть новый попечитель, притом же директор многозначительно и пристально взглянул на нас. Мы догадались и встали. Пирогов кивком головы поздоровался с гимназистами и велел сесть. Сказав что-то директору, Пирогов уселся на конце первой скамьи по соседству с учениками. Шершеневич вскоре тихо вышел из класса, конечно, ввиду желания Пирогова. “Продолжайте, на чем остановились!” – обратился Пирогов к Протопопову. Урок возобновился и пошел своим чередом. Пирогов, спрятав руки в широкие рукава своего сюртука-пальто, внимательно следил за ходом урока. Читали, кажется, Вергилия. Оригинал-попечитель взял у соседа экземпляр, следил за переводом, предлагал вопросы, поправлял неудачный перевод, вступал в объяснения с учителем. При этом Пирогов обнаружил знания, подкрепляя свои замечания филологическими и историческими справками. Вначале оторопелый, учитель ободрился, и свободно объяснялся с попечителем. Характерно это отсутствие генеральства, всегда так выгодно отличавшее Пирогова. Поправляя перевод учителя, вставляя свои замечания, Пирогов прибавлял ничего не значащие на первый взгляд, но скрашивающие взаимные отношения слова: “мне кажется”, “я думаю”. Затем Пирогов сам вызывал некоторых учеников, между прочим толкнул своего соседа и велел переводить, причем разыгралась следующая, не лишенная комизма сценка. Гимназист встал. “Не надо, не надо! Читайте сидя!” Бедный “сосед”, слегка подергивая плечами и подправляясь, начал переводить. Пирогов просидел в классе весь урок”.

Такие посещения, а не минутные визиты, действительно знакомили попечителя с учащим персоналом и могли служить правильной оценке годности и способности преподавания.

На уроках латинского, истории, русской словесности и физики – предметы, которые Пирогов знал и любил, – он оставался до конца, предлагая вопросы. Гимназисты скоро привыкли и освоились с попечителем. На уроке истории некоторые ученики пускались “в рассуждения”. Пирогов выслушивал, вставлял свои замечания, иногда смеялся, если ученик зарапортуется. Надо знать, что в классе никто из гимназического начальства не присутствовал. Пирогов не придавал значения этой mise en scine и при первом же посещении

пожелал остаться один с учителем и учениками. Он не хотел иметь посредников в лице директора, полагаясь на свое собственное впечатление. Пирогов входил всегда бесшумно, как обыкновеннейший, простейший смертный, без всякой свиты. При своих посещениях, о которых заранее никто обыкновенно не знал, Пирогов обращался к первому попавшемуся ему навстречу в коридоре гимназии лицу. У такого случайного путеводителя он узнавал, где такой-то класс; тот доводил посетителя до дверей и удалялся, так как Пирогов двери отворял сам. Мелочи, скажете вы. Конечно, мелочи. Но припомните щедринские “мелочи жизни” и вы оцените по достоинству пироговские.

“Приходил он в гимназию обыкновенно пешком: многие маленькие ученики его не знали и при встрече в воротах, не снимая фуражки, с любопытством озирались на него, потом сами же и рассказывали надзирателю, за что и получали должный выговор. В грязную погоду Пирогов приходил в больших калошах-кораблях, с засученными панталонами и так входил в класс и садился на скамье, слегка сгорбившись. Как теперь, вижу эту невысокую фигуру с большими седоватыми баками, с густыми нависшими бровями, из-под которых выглядывали два маленьких проницательных глаза; выслушивая объяснения, Пирогов иногда пристально всматривался в говорившего: маленькие глаза его пронизывали человека насквозь, как бы ставили духовный диагноз говорившему… Казалось, что под слоем фраз эти маленькие, углубленные в орбиты глаза желали схватить самое нутро. Не обращая совершенно никакого внимания на старания гимназического начальства придать классным комнатам внешнюю чистоту, Пирогов, входя в класс, углублялся тотчас в книгу или пристально смотрел на говорившего с ним ученика, заботясь, конечно, не о недостающих на сюртуках пуговицах или высунувшемся воротничке сорочки. Скоро гимназисты полюбили этого “сурового и жесткого человека”; мы со свободным искренним уважением относились к нему; молодой инспектор наш угадал в нем великого человека-гуманиста прежде еще, чем о нем заговорили в Одессе во всех слоях общества”.

Недолго пробыл Пирогов в Одессе, но и это короткое время прошло не бесследно. Так, он организовал литературные беседы в гимназиях. Цель этих бесед разъясняется в небольшой одноимённой статье, вошедшей в его сочинения, – подготовить будущих студентов университета, приучить их исподволь к самостоятельному научному труду, без которого учение в университете, по справедливому мнению Пирогова, бесплодно. Темы должны, конечно, давать наставники, потому что выбор темы требует слишком много такта и должен быть по средствам

ученика, чтобы тема не осилила избравшего, а напротив, чтобы ее осилил избравший. Сочинения писались обыкновенно по истории и русской словесности. Литературные вечера продолжались с семи до одиннадцати-двенадцати часов ночи. Собирались в большой зале первой одесской гимназии. Ученики первой и второй гимназий рассаживались отдельно. В конце продолговатой, образующейся между ними площадки находилась кафедра, к которой подходил референт, становясь лицом к учителям и приглашавшимся на беседы профессорам. На эти беседы допускались ученики последних трех классов. Литературные вечера сделались очень популярными, и гимназисты посещали эти необязательные беседы очень усердно. Они могли услышать здесь профессоров лицея, которые, польщенные присутствием Пирогова, оппонировали юным гимназистам. Беседы превращались в лекции, из которых участники все-таки много выносили.

Пирогов, конечно, не забросил медицины и продолжал практиковать. Бедные ученики, не имевшие средств платить доктору, обращались к Пирогову в качестве пациентов, даже с теми болезнями, которые сопровождают обыкновенно юношеский возраст. “И как это у вас хватило смелости идти с такою болезнью к господину попечителю! Вот увидите, будет вам!” – говорили надзиратели. Но гимназисты знали, к кому шли. Они посмеивались на замечания надзирателей. Нечего и говорить, прибавляет рассказчик, что предсказания начальства о дурных последствиях для ученика никогда не сбывались.

Таковы были отношения попечителя к гимназистам.

Помимо гимназий, в Одессе было особое учебное заведение, Ришельевский лицей. На этот-то лицей и обратил Пирогов свое внимание, задумав преобразовать это высшее учебное заведение в университет. Необходимость такого преобразования была очевидна для Пирогова при первом же знакомстве с характером заведения. Поставив себе такую задачу, Пирогов стал неуклонно добиваться осуществления ее. Не желая действовать единолично, что противоречило его принципам, он предложил совету лицея обсудить меры к его улучшению. Результатом совещаний явилось то, что мысль Пирогова нашла себе полную поддержку в совете. Как известно, Ришельевский лицей был преобразован в Новороссийский университет в 1865 году, то есть значительно позже. В ожидании выполнения своего проекта Пирогов прилагал все старания поднять лицей, что ему в значительной степени и удалось. Для приобретения физических и химических приборов, минералов и прочего был послан за границу профессор химии Гассгаген. По инициативе Пирогова студенты лицея устроили

кабинет для собственного чтения. За время управления Пироговым кабинеты лицея – минералогический, физический, астрономо-геодезический, зоологический, технологический, земледельческих орудий, нумизматический и химическая лаборатория – составляли предмет его постоянных попечений. Пример ученого попечителя, его любовь к науке передались и студентам лицея, и результаты этого наглядно обнаружились. Пирогов не обращал внимания на внешнюю сторону, а требовал от студентов, чтобы они действительно были студентами. Благодаря этому поведение студентов во все время управления Пирогова округом было безукоризненно. В них стало обнаруживаться сознание необходимости усиленных и напряженных занятий; даже вновь поступающие поняли, что к ним предъявляются иные требования, и поэтому лучше готовились. В своих заботах о поднятии уровня знаний в начальных школах Пирогов проектировал устроить при лицее педагогическую семинарию.

Обратимся теперь к публицистической деятельности “общественного хирурга” в Одессе, к его статьям в “Одесском вестнике”, превратившемся из бесцветного провинциального листка в почтенный литературный орган. Благодаря Пирогову “Одесский вестник” перешел в заведование лицея. Совет последнего избрал в редакторы профессоров Георгиевского и Богдановского. Весьма характерно письмо, которым приветствовал попечитель новых редакторов. В этом письме, помещенном в “Одесском вестнике”, Пирогов показывает трудность для будущего органа лицея служить в то же время и вкусам публики.

“Лицей и публика! Вы, верно, не угодите лицею, если будете помещать дребедень в фельетоне или сделаете его газету лавочной вывеской. Лицей хочет говорить о деле. Он хочет доказать, что он не просто только рассадник чиновников двенадцатого класса. Приняв на себя издание газеты, он желает доказать перед правительством, что он не понапрасну считается высшим образовательным учреждением целого края, а что все интересы, все потребности края ему близки к сердцу”.

Далее идут следующие прекрасные строки:

“Вспомните, что “Одесский вестник” может попасть в руки и великоросса, и малороссиянина, и молдавана, и грека, и еврея. Вспомните, что Одесса живет пшеницей, что степь – плохой проводник убеждений и просвещения. А убедить людей, даже и не степных, что и пшеница, и интересы разноплеменных типов, и все на свете может быть приводимо и даже может быть приведено к одному знаменателю, нелегко. Вспомните, что великое слово

“вперед”, столь одушевлявшее солдат Суворова и Блюхера, не на всех действует так же магически. Есть еще много на свете господ, и степных, и столичных, которые не только не знают, что можно и должно идти вперед, но и вообще не знают, что всякий из них, как-нибудь, да идет вперед ли или назад”.

Избегая давать какие-либо советы, Пирогов хотел лишь обратить внимание редакторов на трудность их нового дела, “во всеуслышание пожелать успеха”.

“Я сравниваю вас, господа редакторы, с артистом, выступающим на сцене перед разнохарактерной публикой. Его публика так же, как и ваша, занимает и партер, и ложи, и раек. Если артист – человек с талантом и призванием, то станет ли он своею игрою заискивать благоволения у сидящих во всех ярусах и рядах, вверху и внизу? Истинный талант и истинное искусство привлекают, не спускаясь”.

Из этого письма читатели убеждаются, как широко смотрел Пирогов на роль газеты. Но он не ограничился одними благими пожеланиями. В “Одесском вестнике” появлялись статьи его самого и, по призыву его, многих учителей из всех концов округа, так что газета приобрела действительно серьезный оттенок. По поводу одной статьи, робко намекавшей на невыгоды несвободного труда, Пирогову пришлось даже открыто в том же “Одесском вестнике” защищаться от инсинуаций другого местного органа и заявлять, что по смыслу закона цензор не должен читать того, что прямо не написано у автора.

Из статей, помещенных Пироговым в “Одесском вестнике”, остановимся на одной – *“Быть и казаться”,* которая красноречиво доказывает, как щепетильно он относился к своим обязанностям попечителя, и освещает его взгляды на дело воспитания. Ученики второй одесской гимназии, подражая студентам лицея, пожелали устроить спектакль с благой целью – помочь товарищам. Требовалось разрешение попечителя, которое по бывшим прецедентам и последовало. Тем бы дело и должно было кончиться. Но у Пирогова, по его словам, возник нравственно-педагогический вопрос: можно ли позволять молодым людям, чтобы они прямо со школьной скамьи выступали на сцене и представлялись действующими лицами перед публикой? Мелкий на первый взгляд вопрос о разрешении спектакля вырос таким образом до принципиального, который беспокоил Пирогова, но который он должен был себе разрешить. Не будучи педагогом по профессии, откровенно и часто сознаваясь в этом, Пирогов тем не менее глубоко вдумывался во все встречавшиеся ему случаи педагогической практики и старался исчерпать вопрос. В этом сказалась немецкая основательность дерптского профессора. Свои

сомнения в пользе таких зрелищ, развивающих в неопределившемся еще ребенке искусство притворяться и знакомящих его с наукой “быть и казаться”, Пирогов выразил в прекрасной статье под тем же заглавием. Нельзя не согласиться с грустными словами автора, что “и не выходя на театральную сцену, на одной сцене жизни ребенок скоро научится лучше казаться, чем быть”. Мир фантазии и действительность в глазах ребенка – говорит автор – составляют одно целое. В его душе нет этой двойственности, этого разлада между *быть* и *казаться.* Он вполне живет в мире сказочном. Совсем не то на сцене, когда ребенок прекрасно знает, что он играет чужую, не свойственную ему роль и, следовательно, притворяется. Оберегая душу ребенка, Пирогов считает профанацией вводить мальчика в нездоровую атмосферу подмостков, оваций и похвал со стороны снисходительных ценителей и судей. Отсюда – *казаться и быть.* От театральной сцены к школьной, к пресловутым экзаменам, один только шаг. “Но не лучше выставок детей на паркете и театральной сцене и публичные выставки на сцене школьной. Это тоже театр в своем роде. Да еще на театре выставляется, по крайней мере, то, что должно быть выставлено: искусство притворяться и великий дар заставлять себя чувствовать по собственной воле. А на публичных экзаменах выставляется напоказ знание, которого истина и значение ничем столько не оцениются, как скромностью”.

Однако недолго продолжалась плодотворная деятельность Пирогова в Одессе. Частью из-за его отношения к прессе, частью из-за одной выходки студентов лицея, пожелавших отпраздновать прочтенное ими в номере газеты “Indйpendence Belge” известие об эмансипации крестьян, выходки, слишком раздутой, Пирогов вынужден был оставить Одессу и 18 июля 1858 года был назначен попечителем в Киевский округ.

23 августа 1858 года преподаватели лицея и обеих гимназий чествовали своего отъезжающего попечителя обедом, воспользовавшись и тем, что с этим совпало тридцатилетие его медицинской деятельности. Отвечая на тосты и речи, Пирогов упомянул о будущем университете, за участь которого он опасался в атмосфере торговли, пыли и грязи Одессы, в этом усиливающемся материализме, к борьбе с которым он призывал слушателей.

Деятельность Пирогова как попечителя и публициста нашла себе сочувственный отголосок и в дальнем Петербурге. Студенты Петербургского университета, предпринявшие в 1857 году под редакцией профессора Сухомлинова издание своего сборника, пожелали узнать веское слово великого учителя. Ответ Пирогова,

остроумный по содержанию и изящный по слогу, не заставил себя долго ждать.

“Предсказать участь железных дорог и литературных предприятий в России, по меньшей мере, трудно. Покуда можно утверждать наверное только одно: и те, и другие необходимы. Покуда и этого убеждения достаточно, чтобы начинать. Деятельность, как бы ее результаты ни были сомнительны, все-таки отраднее для общества, чем *visinertiae*[7] с ее неизбежными и верными следствиями. Докажите, вспомнив Декартово: *cogito, ergo sum* (мыслю, следовательно живу), что вы живете, это будет уже огромная заслуга, когда еще не пришло время доказать, как вы живете. Со временем обнаружится и это. Когда чувствуешь, что живешь, нельзя не сочувствовать признакам жизни; и я, видит Бог, им вполне сочувствую. Более ничего сказать вам не умею и не могу, да и не считаю нужным. Если вы уже научились иметь убеждения и если вы уже имеете убеждение, что ваша деятельность будет полезна, – тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши будут именно тем, чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не помогут. Дело без внутреннего убеждения, выработанного наукой самопознания, все равно, что дерево без корня. Оно годится на дрова, но расти не будет. Итак, хотите непременно знать будущность вашего предприятия? Вникните в себя поглубже и узнайте повернее – есть ли в вас убеждение, что ваши труды должны непременно достигнуть той цели, которую вы им предназначаете. Если да, – начинайте смело. Остальное придет само собою рано или поздно. А я, благодаря вас от души за вашу доверенность ко мне, буду ожидать, что это именно так и случится”.

В этом письме – весь автор “Вопросов жизни”.

ГЛАВА VIII

Приезд в Киев. – "Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий". – Отчет о следствиях введения правил. – Университет и студенты. – Университетский вопрос в статьях Пирогова. – Воскресные школы. – Циркуляры по учебному округу. – Прощание Киевского учебного округа со своим попечителем. – Пирогов – мировой посредник. – Командировка от министерства народного просвещения за границу. – Письма в "Голос". – удаление в деревню

Пирогов приехал в Киев уже с известным административно-педагогическим опытом. Два года одесского попечительства показали, что он был не только теоретиком, но и прекрасным практиком и находился здесь действительно на своем месте. Продолжая свою миссионерскую деятельность, Пирогов прежде всего задался целью изгнать из школы те дикие, почти враждебные отношения, какие существовали между воспитанниками и наставниками. В основе этих отношений лежал произвол со стороны школьного начальства, поддерживавшего свой авторитет только розгой. Еще в Одессе Пирогов решительно высказался в печати против целительности розги в деле воспитания. Вопрос о розге или, как названа статья Пирогова об этом, "Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей", – "мелочный и, так сказать, неприличный вопрос для публики образованной и занятой серьезными делами. Но для детей розга – не мелочь, и секут их также и образованные, и занятые серьезными делами люди". Розга даже не достигает цели телесного наказания, представляя "слишком грубый и насильственный инструмент для возбуждения стыда и вселяя страх, но не исправительный, не надежный, а прикрывающий только внутреннюю порчу". "Очерки Бурсы" Помяловского служат доказательством справедливости этой мысли. Особенно безнравственным является в глазах Пирогова образ действий тех лиц, которые считают нужным "сечь детей в присутствии других детей". Такая система – сечь в присутствии товарищей – может заронить в последних только низменные, порочные чувства. Сочувствие товарищей порядочных, не огрубевших душою, будет всегда на стороне наказываемого, а негодование их обрушится на наказывающего. Другими словами, расчеты воспитателей не оправдываются, и вся система оказывается "по меньшей мере, неприличною, неблагоразумною и безнравственною".

"Я знаю, – продолжает Пирогов, – что последователи правил,

упроченных лишь временем, тяжелы на подъем, – и в этом случае они правы: время, – важный аргумент, когда оно вынесло на свет что-нибудь хорошее. Но в этом-то вся и трудность. Докажите мне, что при такой-то мере дело шло хорошо, да докажите еще, что хорошее именно и зависело от этой меры, тогда я первый поклонюсь, пожалуй, и розге, как бы я мало ни был расположен к ней".

Вековой опыт не служит еще решающим моментом. Ссылаться на него не всегда удобно. Точно так же несостоятелен и довод в пользу розги как энергического средства. Обращаясь к родной своей области, медицине, Пирогов напоминает, что при воспалении легких всегда пускали кровь, прибегая к этому тоже как к энергическому средству. Такой метод лечения продолжался целые столетия. Наконец, цифрами доказали, что выздоравливают и без кровопускания даже и чаще, и скорее. "А уже, если есть на свете энергическое средство, – говорит Пирогов, – так верно кровопускание, оно не розге чета: не каплями, а фунтами льет кровь. Логика – post hoc, ergo propter hoc *(после* того-то, следовательно *вследствие* того-то) – опыт, время, все было на стороне метода кровопускания. Позабыли только одно – испытать, не будет ли хорошо и иначе, без энергических способов".

Тотчас по приезде в Киев Пирогов и решил внести струю гуманности и чувство законности в педагогический строй. С этой целью новый попечитель созвал комитет для выработки "Правил" о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа. Необходимость составления таких правил Пирогов мотивирует следующим образом:

"Нехорошо, если в том же учебном округе (в котором иногда ученики переходят из одного заведения в другое), за тот же самый проступок один директор будет сечь или исключать ученика, а другие – прощать его или слабо наказывать. При таких противоречиях и упущениях нельзя развиться чувству законности в учащихся. Воспитанники, видя такую разнообразность взглядов и действий воспитателей, непременно придут к заключению, что действиями их управляет не закон, а случай, каприз, произвол и пристрастие. Доверие к законности действий в таком случае нарушается, а вместе с этим исчезает и всякое чувство правды и законности".

Справедливо полагая, что "у нас нужно приучать молодых людей с ранних лет к законности", Пирогов потребовал квалификации проступков с указанием соответствующих мер взыскания. Такая таблица проступков и наказаний должна быть известна всем: и воспитателям, и ученикам. Таблицы висели "ко

всеобщему сведению" обязательно во всех гимназиях округа в каждом классе. На эту систему Пирогова могла навести статья Шестакова в "Морском сборнике" 1857 года об аналогичных порядках в американских военных училищах. Пирогов желал, "чтобы учащиеся были убеждены, что никакой их проступок не останется скрытым и необсужденным и что каждое наказание проистекает как бы само собой из сущности и характера проступка".

Однако из этих наказаний не была исключена розга. Спрашивается, как мог Пирогов подписаться под правилами, которые оставляют розги, хотя и ограничивают произвол в употреблении их? Пирогов как председатель поставил в комитете вопрос: "Нельзя ли в гимназиях упразднить розгу?" Но большинство отвечало отрицательно. С тем же вопросом Пирогов обратился к директорам гимназий. "Из одиннадцати дирекций Киевского округа на вопрос, считают ли они возможным и полезным в настоящее время отменить вовсе телесное наказание в низших классах, и если считают это возможным, то чем полагают заменить его, четыре педагогических совета отвечали: "нет", один предложил взамен розги учредить исправительную гимназию, другой предложил в таких случаях предоставить выбор родителям, еще четыре предложили заменить розгу исключением, один директор, вопреки мнению педагогического совета своей гимназии, считает необходимым не исключать розги из списка возможных наказаний". Не найдя сочувствия в большинстве членов Комитета, Пирогов убедился, что бесполезно было бы уничтожать на одной *бумаге* средство, которое и многие воспитатели, и большая часть родителей признают еще необходимым. Еще в прошедшем столетии розга была уже уничтожена на *бумаге.* В руководстве учителям 1-го и 2-го разрядов Российской империи 1794 года запрещались: 1) все телесные наказания и 2) все посрамляющие и оскорбляющие честь унижения. "Однако же, – говорит Пирогов, – эти запрещения не помогли". В то время, "когда от публицистов мы слышим упреки в излишней жестокости правил, директора гимназий доносят, что телесные наказания нашими правилами почти совсем выводятся из употребления". В самом деле, из гимназических отчетов округа видно, что в 1858 году, до составления "Правил", из 4100 учеников были наказаны розгами 550. После же обнародования "Правил", за 1859–1860 годы из 4310 подверглись телесному наказанию только 27. Иначе, введение "Правил" уменьшило более чем в 20 раз процентное отношение телесных наказаний к числу учеников. Пирогов мог гордиться достигнутыми результатами, потому что главной цели

“Правил”, уменьшения произвола, он добился. Своим “Отчетом” Пирогов может убедить читателя, что тогдашняя журналистика, быть может, несколько поспешно обвиняла автора “Вопросов жизни” в каком-то отступничестве и измене его прежним взглядам.

“Читая журнальную полемику и возражения, я, – пишет Пирогов, – удивляясь, спрашивал себя, неужели же серьезно кто-нибудь убежден, что мне или, лучше, комитету не были известны самые первые начала педагогики, неужели кто-нибудь мог в самом деле подумать, что мы не понимаем различия между юриспруденцией и воспитанием, между чиновником юстиции и воспитателем, между провинившимся ребенком и подсудимым преступником? Неужели можно толковать о возможности обойтись вообще без наказаний, тогда как мы боремся в нашем общественном воспитании с самыми грубыми его недостатками. Допустим, – продолжает Пирогов, – что все наши соображения разлетаются в пух и прах пред общественным мнением; допустим, что действительно это оно вопиет и громко требует отменить телесное наказание. Чего же лучше и о чем же тогда спорить? Мы будем рады уже верно не менее других, и что за дело тогда, будут ли наши правила угрожать виновным розгой или нет, – все равно: против общественного мнения не устоят никакие правила, и розга, оставаясь на бумаге, исчезнет на деле, а это-то и есть именно то, о чем мы все хлопочем”.

Из этих строк вполне выясняется, что не может быть и речи о солидарности Пирогова с теми педагогами, которые сомневались, к какому лагерю им примкнуть. Пирогов не признал розог нужными и полезными; напротив, он по-прежнему ратовал за фактическую, а не на бумаге только, отмену их.

Помимо введения “Правил”, наглядно показывающих уважение Пирогова к коллегиальному началу, он сумел вообще осуществить в гимназиях коллегиальное управление, бывшее до того времени, по свидетельству самих учителей, только на бумаге в уставе 1828 года. Благодаря новым взглядам попечителя успели измениться к лучшему отношения учащих и учащихся. С ограничением произвола первых престиж их, и в обществе, и среди учеников, поднялся. Пирогов ввел и в Киеве литературные беседы, значение которых в деле образования признается всеми и вопрос о которых теперь возник снова. С приездом Пирогова в замещении учительских вакансий перестала играть роль протекция – ее заменили конкурсы. Новый попечитель позаботился увеличить гимназические библиотеки и кабинеты и предоставил возможность многим учителям отправиться для усовершенствования за границу. Гуманное в высшей степени

отношение к учителям не мешало ему, разумеется, требовать от них дела.

Будучи классиком, Пирогов положил в основу своих служебных отношений классическое *homosuperior cive,* другими словами, старался более влиять как человек, нежели как попечитель. Применяя это начало по отношению к учителям, он с успехом проводил его и в своих отношениях с гимназистами, которые платили ему юношеской, восторженной любовью.

“Быв попечителем университета, – говорил Пирогов при прощании с киевскими студентами, – я поставил себе главною задачей поддерживать всеми силами то, что я именно привык любить и уважать в молодости. С искренним доверием к ней, с полною надеждою на успех, без страха и без задней мысли, я принялся за трудное, но высокое и благородное дело. Я основывал свои отношения к вам на том же нравственном доверии, которого имел право требовать и от вас, потому что действовал прямо, и знаю, что на молодость нельзя действовать иначе, как приобретя ее полное доверие”.

Неудивительно поэтому, что его отношения с профессорами и студентами без всяких усилий сложились прекрасно. Человек науки, Пирогов постарался поставить ее в Киеве на должную высоту. За время своего пребывания в Киеве он принимал деятельное участие во всех научных вопросах по изданию университетских известий. Пирогов ввел систему конкурсного замещения кафедр, а также сделавшееся необходимым вследствие развития науки разделение факультетов.

Высоко ставя нравственный авторитет, в служении которому заключалась главная тайна влияния Пирогова, он организовал в университете свой суд. И здесь Пироговым руководило желание придать приговорам за проступки характер законности, а не произвола, придать престиж университетскому начальству. Разумеется, Пирогов расширил университетскую библиотеку, видя в этом существенное подспорье для занятия наукой.

Каким огромным влиянием пользовался попечитель среди студентов, можно видеть из слов профессора русской; словесности Селина.

“Вас может обрадовать такое знаменательное событие, которому не было подобного в течение шестнадцатилетней службы говорящего. Когда разнеслась горестная весть – “Н. И. Пирогова не будет с нами!” —студенты университета, всегда делившиеся на самые разнородные станы, какою-то неведомою силой вдруг сливаются в единую семью! Великороссияне, малороссы, литвины, поляки, болгары, сербы, немцы, евреи – один человек!”

Пирогов сам объясняет, чем он завоевал симпатии молодежи.

“Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят свою молодость. Еще счастливее я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого я, старясь, не утратил способности понимать и чужую молодость, любить и, главное, уважать ее”.

“Помня и любя время пребывания в четырех университетах”, Пирогов уделял университетскому вопросу очень много места в своих статьях, постоянно возвращаясь к этому излюбленному им вопросу. Серию публикаций по университетскому вопросу открывает статья, помещенная еще в “Одесском вестнике” под заглавием “Чего мы желаем?”. Статьи Пирогова важны особенно потому, что в это время вырабатывался новый университетский устав (1863 года). Главный недостаток университетского строя, по мнению Пирогова, заключается в том, что все наши университеты “со дня рождения” первого из них, Московского, до сих пор являются учреждениями чисто правительственными, уже с самого начала централизованными, “приспособленными к образованию людей должностных на службу государству”, которое и предоставляет получившим ученые степени известные служебные права. Этим объясняется, почему “в наших университетах никогда ни одна наука не излагалась в полном ее объеме, и весьма немногие кафедры были снабжены всеми средствами, необходимыми для современного изложения науки. У нас никогда не было конкуренции, столь благодетельной для научного прогресса”. Не допуская мысли, что дело университета – преподавать молодому поколению науки в современном их состоянии, а дело академий – двигать науку вперед, как утверждали это на столетнем юбилее Московского университета, Пирогов, напротив того, требует научной постановки университетов. Для этого необходимо “коренное и фундаментальное преобразование их”. Прежде всего следует обратить внимание на предварительное образование главных деятелей нашей университетской науки. Главное – “живые, личные силы”, при отсутствии которых все прочие меры будут призрачными. Для постоянного притока таких свежих сил необходимым условием является сокращение слишком продолжительного срока профессуры и повторение выборов как средства контроля научной деятельности кандидатов на кафедру.

“Как обновление племен и семейств новыми связями родства считается лучшим средством против нравственного одряхления, так в учебных учреждениях ничто не противодействует столь сильно научному застою, апатии и непотизму, как введение свежих посторонних сил”.

Университетская реформа должна, разумеется, опираться на

коренную реформу средних и низших учебных заведений. Гимназии должны быть приспособлены к одному только университетскому учению. Если же большая часть студентов недостаточно приготовлена к свободным и самостоятельным занятиям наукой, то это указывает только на необходимость повысить уровень гимназического образования. “Не иначе, как начав с обоих концов в одно и то же время, можно ожидать успеха”. Только таким путем гуманные начала могут проникнуть в сознание подрастающего поколения.

Идеально нормальным состоянием просвещения в обществе, по взгляду Пирогова, было бы такое, при котором все без различия одним путем вступали в жизнь: путем широким, университетским. Это значило бы, что все без различия сословий и состояний были бы обязаны пройти общий гимназический курс, поступить в университет, избрать один из его факультетов и потом уже войти в жизнь, следуя одному избранному пути.

Таким образом, для практических целей останутся различные специальные школы. На долю университета, поставленного на должную высоту, выпадет иная, завидная, участь, университеты будут служить благоприятною почвой для развития талантов, в которых так нуждается общество. Такое назначение университета потребует изменений системы преподавания. Одно слушание лекций Пирогов признает уместным только в том случае, когда профессор излагает еще не обнародованные или ему одному известные и им одним открытые истины, или если он обладает особенным даром слова. Но такие условия, к сожалению, встречаются очень редко, а обыкновенно студентам возвещают с кафедр истины, вошедшие во все учебники и “не одному только преподавателю известные”. Профессора, по-видимому, забывают, что книгопечатание изобретено еще в XV веке, и тратят массу дорогого времени на систематическое изложение таких истин, которые каждый слушатель, “знающий грамоту и сколько-нибудь подготовленный, может сам прочитать, не спеша и хорошенько обдумав, в любом учебнике”. Пирогов предлагает посвящать лекции только разъяснению трудных и сложных научных вопросов совместно с аудиторией при помощи разговорного сократовского метода. Выигранное таким образом время профессор “может употребить на составление хороших руководств, монографий, вообще на занятие своею наукой”.

Еще менее могла удовлетворять Пирогова существовавшая система экзаменов, – по его мнению, “мера, означающая вообще недостаточную образованность общества”. Устав 1863 года, отменивший вступительные экзамены в университет, осуществил только часть реформы экзаменов, которую предлагал Пирогов. Он

доказывал, что университет должен открыть всем свободный вход в свое святилище и только при выходе требовать строгого отчета, чтобы отличить знание и талант от бездарности и невежества. Вообще же, экзамен должен определять не *maximum,* а известный *minimum* сведений испытуемого, потому что *maximum* беспределен и бесконечен, тогда как *minimum* может быть всегда определен точно и положительно двумя словами да или нет: имеет ли такой-то достаточно знания, чтобы достигнуть той или другой цели в какой-либо науке?

Пирогов требует также более разумной специализации факультетов, без которой был возможен факт, отмеченный Пироговым в особой записке, а именно: отсутствие кафедры землеведения. Будущие учителя географии выходили из университета без подготовки по своему предмету. Только по новому уставу 1884 года кафедра эта была введена в наших университетах.

С другой стороны, в университетское преподавание вошли науки, требующие слишком обширных и специальных пособий и уместные только в специальных институтах. К таким наукам Пирогов относит агрономию и технологию, которые он советовал заменить прикладною химией как основой для технической специализации.

“Полный штат” всех наук невозможно заранее определить в уставе, потому что постоянный прогресс науки вызывает необходимость открытия новых самостоятельных кафедр. Этот вопрос должен быть предоставлен на усмотрение факультетов. Вообще в расширении компетенции факультетов, в предоставлении университетам автономии Пирогов видел залог подъема университетского строя. Но, будучи сторонником автономии, он беспощадно раскрывает все зло, происходящее при замещении профессорских кафедр такими выборами, при которых играют роль “непотизм, пристрастие, дух партийности, а не научные заслуги кандидатов”. Коррективом выборов должно служить замещение кафедр по конкурсу, свободная гласная конкуренция. Рядом с этим Пирогов настаивал на отмене 25-летнего срока профессуры.

“Никто из университетских преподавателей, – говорит он, – не должен находиться под влиянием парализующей мысли, что, вступив однажды в число членов совета, ему ничего более не остается, как спокойно и безусловно выжидать 25 лет полной пенсии… Сколько я видел уже всходивших на кафедру с блестящими надеждами, и через 20 лет не узнавал их!”

Пирогов рекомендовал установить 15-летний срок, по истечении которого назначался бы новый конкурс. Исключение

допускается только для такого профессора, который представит какой-либо научный труд или образует одного кандидата-профессора за 15-летний период занятия кафедры. Такой профессор может быть выбран еще на 10 лет. По истечении 25 лет кафедра должна быть объявлена вакантною безусловно и занята лишь с публичного конкурса, от которого не устраняется, разумеется, и занимающий эту кафедру. Свободная конкуренция послужит стимулом для избрания ученой деятельности, даст жизнь институту доцентуры. Правильно и широко поставленная доцентура выделит из своей среды истинных деятелей науки. Ставя университет на должную научную высоту, Пирогов вместе с тем считает одним из жизненных условий плодотворного существования университетов сближение их с обществом, популяризацию университетской науки. “Наша задача, – говорит он, – обнародовать науку всеми средствами, которые имеем под руками”. Важным подспорьем в этом отношении представлялись Пирогову съезды научных деятелей, гласное обсуждение в печати университетских лекций и иные способы знакомства общества с жизнью университетов. Такое сближение, такое взаимодействие крайне желательно не только для общества, но и для университета. С повышением уровня общества для университета создадутся более благоприятные условия.

“В нашем мало развитом обществе и особливо провинциальном, – справедливо говорит Пирогов, – столько парализующих условий, наша жизнь так скудна возбуждающими стремлениями, наше самолюбие так мелочно, искусственные его стимулы так мало приноровлены к духовным интересам, что у нас всего труднее уберечь университет от апатии и застоя”.

Устав 1863 года, просуществовавший до 1884 года, как известно, не заключал в себе тех преобразований, которых желал Пирогов.

“Всякая добрая мысль, всякое истинно полезное начинание, – как выразился один из участников прощального чествования Пирогова в Киеве, – встречало в знаменитом ученом всегда горячую поддержку и одобрение”. В 1859 году попечители только что получили право открывать, не испрашивая разрешения высшей инстанции, частные школы. И вот, когда студенты Киевского университета просили у Пирогова дозволения открыть воскресную школу, он, рассматривая ее как частное предприятие, воспользовался своим правом и, подчинив ее известным условиям, тотчас же дозволил открытие. Пирогов постоянно следил за развитием нового дела, посещал школу. Он с удовольствием замечает, что “с первого же раза в ней оказались такие отрадные педагогические явления, которые предсказывали

ей несомненную будущность". Студенты-учителя принялись учить грамоте, письму и счету "с неожиданным педагогическим тактом" по новым способам. Результаты получились блестящие, желающих посещать школу явилась масса. Хозяева мастеровых не могли удерживать своих учеников и подмастерий, а господа – своих дворовых, которые вдруг захотели учиться. Успехи учеников воскресных школ, как Пирогов сам не раз убеждался, были при прилежном способе учения изумительны. Грамота усваивалась почти вдвое и даже втрое скорее, чем в приходских и других училищах, посещаемых ежедневно. Читая, ученики понимали всегда, что читают, – явление, как известно, не так часто наблюдаемое в других школах. То же или почти то же сообщали попечителю директора и других воскресных школ округа, открытых в Нежине, Полтаве и Чернигове.

"На западе, и именно в Германии, – пишет Пирогов, – воскресные школы составляют предмет роскоши, у нас – необходимости. У нас воскресные школы важны не столько потому, что распространяют грамотность путем самым надежным, то есть путем частной инициативы и благотворительности, сколько тем, что привлекают к учению ремесленный и рабочий классы народа, отвлекая их вместе с тем от праздности и разгула. Занятия в воскресных школах без принуждения, под руководством наставников, учивших также по одной охоте, могли легко возбуждать в учениках желание учиться и продолжать учение. Я это наблюдал, – рассказывает Пирогов, – даже и над крестьянскими детьми в моем имении (Подольской губернии). Занявшись несколько раз по праздникам у меня на дому, они получали охоту к учению и начинали посещать прилежно и сельскую школу".

Цель народных воскресных школ, по мнению Пирогова, должна состоять в распространении *осмысленной* грамотности. Пирогов был первым попечителем, открывшим в своем округе воскресные школы. Официально они были узаконены лишь в 1860 году циркуляром министра внутренних дел.

Наш очерк о деятельности Пирогова в Киеве был бы неполон, если бы мы не упомянули о его циркулярах по округу, которые он преобразовал "в замечательное педагогическое издание". Начало этому взгляду на циркуляры зародилось у Пирогова уже в Одессе. Обозревая часто Одесский округ, Пирогов нашел полезным сообщать каждой из дирекций циркулярно сделанные им замечания по всем дирекциям и относительно всех сторон педагогического дела. Циркуляры обязательно прочитывались в полном заседании педагогического совета. Этим Пирогов желал возбудить во всех дирекциях соревнование и, по возможности,

гармоничное ведение дела. В этих циркулярах, допускавших совершенно гласный и свободный обмен мыслей между попечителем округа и учителями, разбросаны все те же начала, которые хотел ввести Пирогов в школу, – начала свободного проявления личности, признания такой личности в учениках. Из этих циркуляров учителя узнавали о новых для них теориях и методах преподавания, которое Пирогов советовал делать более наглядным. Циркуляры киевского попечителя за 1858–1861 годы помещены во втором томе его сочинений.

Когда 13 марта 1861 года состоялось увольнение Пирогова с должности попечителя, Киевский учебный округ не мог не проститься с "отходящим от него превосходным человеком", – титул, который Пирогов, по выражению профессора Шульгина, заслужил.

На прощальное чествование 4 апреля 1861 года собралось более 120 человек. Были получены телеграммы из разных концов России. Все чувствовали, что "этот обед, это собрание не есть обыкновенное прощание с уезжающим начальником". Начиная с ректора университета Н. Х. Бунге и кончая только что соскочившим с гимназической скамьи студентом, – все "печальные и глубоко потрясенные" прощались со своим попечителем-миссионером. Профессор анатомии А. П. Вальтер, произнесший с гордостью: "Я – ученик Николая Ивановича", в прекрасной одушевленной речи набросал яркую картину научной деятельности Пирогова, "историю его жизни", считая себя "вправе говорить об этом, ибо ему досталось на долю редкое счастье следить в продолжение 26 лет за подвигами и действиями Николая Ивановича".

Опуская остальные речи, мы остановимся лишь на заключительной речи профессора истории Шульгина, который представил "наглядный свод того, о чем говорили подробно его предшественники и о чем гораздо подробнее и красноречивее говорят сами дела Николая Ивановича". Говоря о том, что один из ораторов назвал Пирогова совершеннейшим представителем христианской гуманности, профессор Шульгин замечает:

"Кстати, о человечности. Вы украшены титулом превосходительства, Николай Иванович! Редко кто из нас называл Вас этим титулом. А между тем, никогда не величая Вас превосходительством, я теперь на прощании громко и смело скажу, что другого титула Вам нет и быть не может. "Он был великий король!" – говорит у Шекспира Горацио про отца Гамлетова. "Человек он был из всех людей, каких нам доводилось видеть!" – отвечает ему Гамлет. Вот в этом-то смысле Вы – превосходительство: Вы превосходите как человек многих и

многих людей у нас на Руси, где еще с диогеновым фонарем среди бела дня нужно искать человека… Оставьте нам дух Ваш, – заканчивает Шульгин, – Ваши стремления, Вашу высокую, человечную и гражданскую доблесть, непреклонно устоявшую среди всех препятствий!"

Симпатии студентов к удалявшемуся попечителю "потоком прорвались" при этом прощании. По окончании обеда они предложили подписку и в тот же день открыли в здании университета бесплатную ежедневную школу в знак благодарной памяти о Пирогове. Когда он уезжал из Киева, его провожали за город человек 800.

"Слишком гуманному" администратору пришлось остаться "не у дел". Перспектива, представлявшаяся Пирогову после вынужденной отставки, отчетливо вырисовывалась перед ним:

"Я буду трудиться в поте лица, буду разрыхлять и очищать землю; постараюсь делать все как можно рациональнее, заменю крепостной труд свободным, буду обходиться с рабочими как с людьми вольными, а не крепостными".

На этой же точке зрения стоял Пирогов, когда, избранный мировым посредником, он изложил свои взгляды хозяина и посредника в форме разговора мирового посредника с любопытным и недовольным. Статья эта, возбудившая сильную полемику, не потеряла своего интереса и до настоящего времени.

Удаление Пирогова в деревню было непродолжительно. В 1862 году его командировали на четыре года за границу для наблюдения за молодыми русскими учеными. Это занятие было ему вполне по душе, и он отдался своим новым обязанностям со всей энергией, служа, по выражению Н. О. Ковалевского, "для русской молодежи не формальным руководителем, а скорее живым образцом, воплощенным идеалом". Здесь он мог проявить свое искреннейшее желание поднять университет посредством новых деятелей науки. Какое чарующее влияние Пирогов оказывал на молодых ученых, свидетельствуют воспоминания Н. О. Ковалевского, который восторженно отзывается о своем руководителе. Ковалевский вместе с другими молодыми учеными работал в Марбурге, когда туда приехал Пирогов контролировать их занятия. Контроль этот выразился в оживленной беседе с тамошними профессорами, которые, уважая в Пирогове известного ученого, через него сближались с молодыми русскими учеными. А такому сближению русский гуманист придавал огромное значение. В числе посланных для усовершенствования за границу были не только медики и натуралисты, но также филологи и юристы. В отчетах их министерству мы находим указания, что и они считали нужным обращаться к Пирогову за

советами и встречали в нем опытного и внимательного руководителя.

Заграничные свои впечатления Пирогов помещал в виде писем в “Голосе”. Он успел за это время осмотреть 25 университетов, где были рассеяны будущие профессора. В этих заграничных письмах знаменитый ученый со свойственным ему блестящим юмором и остроумием касается того же университетского вопроса. Особенно интересно письмо, представляющее разговор Пирогова с будущим профессором-юристом о способе чтения лекций.

В 1866 году Пирогов был “освобожден” от занятий по наблюдению за молодыми учеными и остался чиновником при министре. Таким образом, плодотворная десятилетняя административно-педагогическая деятельность Пирогова закончилась.

Бросая ретроспективный взгляд на этот период жизни Пирогова, мы видим, что он неуклонно шел по однажды намеченному пути просвещения.

“Нет сомнения, – говорит Стоюнин, – что многое сумел бы он разработать в подробностях, применить к делу, если бы его деятельность не ограничилась какими-нибудь тремя годами. Но, во всяком случае, за ним остается та слава, что он первый оживил наш педагогический мир, выяснив коренные недостатки нашего школьного воспитания. После его “Вопросов жизни” стала развиваться педагогическая литература, которая до тех пор почти не существовала”.

Уже в 1857 году появились сразу два педагогических журнала: “Русский педагогический вестник” Вышнеградского и “Журнал для воспитания” Чумикова, где сотрудничал Пирогов, а в 1858 году – “Учитель” Паульсона. Все это движение, по мнению Острогорского, обязано первым толчком Пирогову. Своей административно-педагогической деятельностью и достигнутыми ею результатами Пирогов представил нам живую иллюстрацию своих собственных слов: “у нас еще нужнее, чем где-нибудь, даровитые люди; мы не должны забывать, что каждый из них может подвинуть массу вперед, более чем сотни стоящих вровень с нею”. Нельзя не согласиться с Ушинским, что “самый гениальный устав не сделает того, что может сделать один такой человек”, каким был Н. И. Пирогов.

ГЛАВА IX

Жизнь в деревне. – Хирургическая практика. – Осмотр военно-санитарных учреждений в франко-прусскую войну (1870). – Осмотр военно-санитарных учреждений в русско-турецкую войну (1878). – Юбилейное торжество в Москве. – Болезнь и смерть. – Заключение

С лета 1866 года Пирогов окончательно поселился в своем имении, в селе Вишне, близ города Винницы, в Подольской губернии. Уже во время пребывания своего в деревне 1861–1862 годов, будучи мировым посредником, он занялся хирургическою практикой в широких размерах и сделал за это время свыше 200 больших операций. Теперь же он устроил у себя в деревне маленький госпиталь на 30 и более больных, размещая в нескольких хатах-мазанках по двое и по трое своих оперированных. Больные различных сословий охотно платили каждый по своему состоянию за содержание и лечение. Пирогов, кроме того, имел громадный амбулаторный прием. Ежедневно приезжали из разных мест, даже очень отдаленных, хирургические больные для того, чтобы попросить совета и пособия у великого русского хирурга. Пирогова приглашали постоянно также на консультации, так что ему приходилось разъезжать по югу России. Таким образом, он делил свое время между практикой и сельскохозяйственными занятиями.

Уже четыре года жил Пирогов в своем уединении, в деревне, когда в сентябре 1870 года получил приглашение от Общества Красного Креста осмотреть военно-санитарные учреждения на театре франко-прусской войны. Пирогов с величайшей готовностью принял на себя это поручение, отправился в Петербург и уже 13 сентября 1870 года выехал за границу. Главную цель поручения Красного Креста составляло ознакомление с приложением начал международной филантропии и с задачами и условиями деятельности частной помощи и ее отношений с военной администрацией. Далее Пирогов поставил себе целью обратить внимание на участь раненых на самом поле сражения, сразу после битвы, и на успехи консервативного лечения огнестрельных повреждений. Наконец, громадный интерес представлял вопрос, какое применение из войны 1870 года может сделать для себя наша русская медицина и наша частная помощь раненым и больным воинам.

Посетив все военные лазареты Берлина, Пирогов выехал оттуда 22 сентября на театр военных действий. Пятинедельная

поездка Пирогова по Германии, Эльзасу и Лотарингии носила в известном отношении характер триумфального шествия. И в официальных сферах, и в медицинских ветеран русской хирургии встретил повсюду самый почетный и радушный прием. Почти все германские профессора, не говорю уже о хирургах, но и терапевты, знали Пирогова лично. Пирогов осмотрел до 70 военных лазаретов, содержавших несколько тысяч раненых. В Горзе (близ осажденного Меца) Пирогов встретился с проф. Лангенбеком, который держался одинакового с ним мнения о важности сортировки раненых при скоплении последних. В Страсбурге хирург Гергот, эльзасец, водя Пирогова по лазарету и указывая на пробитые бомбами крышу, потолок и пол перевязочной залы, уверял, что варварство осаждавших не останавливалось перед красным крестом флага, выставленного на лазарете. “Но я заметил ему на это, – пишет Пирогов, – что французские бомбы в Севастополе также не разбирали флагов на перевязочных пунктах; сопровождавшая нас молодежь улыбнулась на это, а Гергот, несколько смутившись, заметил: “C'est une autre chose” – почему? Не знаю”.

При своем посещении военно-санитарных учреждений в франко-прусскую войну Пирогов мог испытывать чувство удовлетворенного самолюбия как военно-полевой хирург и администратор. Его гипсовая повязка была в большом употреблении, особенно среди немецких врачей. Он увидел, что резекции, впервые произведенные *enmasse* им в Крымскую войну, вытесняют ампутации. “С чувством эгоистического удовольствия” наблюдал Пирогов благие результаты принятой немцами системы рассеяния больных, системы, впервые предложенной Пироговым в 1863 году, о чем мы говорили в своем месте. Пирогов еще в начале 50-х объявил себя непримиримым врагом громадных и подобных дворцам госпитальных зданий и высказался в пользу госпитальных палаток, бараков, лачуг, крестьянских изб и других незатейливых помещений. “Роскошная обстановка госпиталей, – говорит он, – давно уже перестала обольщать меня”. Таким образом, палаточные и барачные лазареты, встреченные Пироговым в франко-прусскую войну, вполне совпадали с давно уже высказанными им взглядами на постановку госпитального дела.

Относительно вопроса, что можно было бы позаимствовать, чему могла бы научиться из франко-прусской войны наша администрация и наша частная помощь, Пирогов указывает на госпитальную и транспортную деятельность, в особенности на порядок в циркуляции санитарных поездов и вообще в эвакуации раненых и больных. Некоторые стороны санитарного строя не

были свободны от недостатков. Так, уборка раненых с поля сражения не была организована, как следовало бы. Отмечая это, Пирогов доказывает всю необходимость мер для скорейшего удаления раненых из сферы убийственного огня и с поля сражения. “Правительства, вооружившие свои армии новыми способами разрушения, теперь нравственно обязаны пред беззащитными ранеными охранять их от новых ран и убийства”. Главною мерой для этого служит своевременная организация санитарных команд. Далее Пирогов требует реформы отношений полевой медицины с военным начальством в смысле большей самостоятельности первой. “Во всякой действующей армии, – читаем мы в “Началах военно-полевой хирургии”, – собираются военные советы, но ни в одной не существует врачебно-административных советов; врачи различных команд и госпиталей не созываются для совещаний или, если это иногда и делается, то заключения их не имеют никакой законной силы”. Профессора, обыкновенно приглашаемые в действующую армию, входя также в состав этих советов, могли бы быть очень полезны. “Военно-медицинская администрация, руководимая представителями науки, получила бы более самостоятельности, и голос бы ее слышался яснее в высших военных сферах”.

Исполнив возложенное на него поручение, великий хирург снова уединился в свою деревню.

“Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году”, представленный Пироговым Обществу Красного Креста, был издан названным обществом в 1871 году. “Отчет” в том же 1871 году появился и на немецком языке в Лейпциге.

По прошествии семи лет о Пирогове опять вспомнили. Россия снова вела восточную войну, на этот раз наступательную. Общество Красного Креста возложило на знаменитого хирурга поручение осмотреть все санитарные учреждения на театре войны и в тылу действующей армии, а также средства транспортировки больных и раненых по грунтовым и железным дорогам.

При осмотре лазаретов, бараков, помещений для больных в частных домах и в лагерных палатках и шатрах Пирогов обращал внимание на местность, расположение, устройство и удобства помещений, на количество и качество воздуха, на пищу и правильность продовольствия раненых и больных. Уход за ранеными и больными, сортировка их по родам болезни, методы лечения, деятельность медицинского персонала и сестер милосердия – со всем этим Пирогов знакомился во всех подробностях и потом указывал, кому следует, все недостатки и предлагал практические меры к немедленному исправлению их.

Нечего и говорить, что во всех посещенных Пироговым госпиталях врачи консультировались у него, желая получить от него советы и указания.

Транспорт и эвакуация, бывшие больным местом кампании, сосредоточили на себе особенное внимание Пирогова. Пирогов осматривал пункты для перевязок и питания транспортируемых и указывал на недостатки их организации. При осмотре санитарных поездов он в деталях знакомился с устройством вагонов, системой коек, организацией персонала поездов, влиянием транспортов на раненых при различных условиях.

При осмотре складов Общества Красного Креста Пирогов наводил справки о количестве имеющихся запасов наиболее необходимых средств помощи, перевязочных средств, белья, медикаментов, вина, теплой одежды и прочего, а также о быстроте и своевременности снабжения этими предметами по требованиям как лазаретов Красного Креста, так и военно-временных госпиталей.

Такая многосторонняя деятельность Пирогова в Румынии и Болгарии продолжалась с сентября 1877 года по март 1878 года. Знаменитый хирург совершенно забыл о своем преклонном возрасте, хотя зачастую попадал в такую обстановку, которая живо напоминала ему “дела давно минувших дней” Крымской кампании.

Громадный собранный им материал со своими выводами и заключениями Пирогов изложил в известном сочинении “Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.”, изданном Обществом Красного Креста в 1879 году.

“Основы моей полевой хирургической деятельности, – читаем мы в этом труде, – я сообщил только спустя 10 лет после достопамятной Крымской кампании. С тех пор шесть войн нарушали мир различных государств в Европе и Америке. Следя за ходом событий, я всякий раз мысленно убеждался в истине тех начал, которые исповедую, и в предпоследней из этих шести войн, во франко-германской 70–71 годов, я при посещении моем госпиталей в Германии и на театре войны, в Эльзасе и Лотарингии, наглядно убедился в том же самом. Наконец в минувшую нашу восточную войну 77–78 годов более, чем все другие, сходную с Крымскою 1854 года, я имел случай еще более глубоко увериться в прочности основных начал моей полевой хирургии”.

Мы познакомим читателей с этими основными принципами. Прежде всего взгляд Пирогова на саму войну выражается в том, что “война – это травматическая эпидемия” (то есть эпидемия

ранений). Пирогов доказывает, что война имеет все свойства эпидемии. В повальных болезнях замечается независимость от наших действий, нашей воли, периодичность их появления.

“Но и в войнах зависимость от нас более кажущаяся, чем постоянная… Сама же причина войн, по-видимому, зависящая от воли и произвола правительств, кроется гораздо глубже. Разные миссии наций, стремление их на восток или на запад, переселения народов, соединенные с войнами, по временам появляющиеся завоеватели – что это все такое, как не нечто непроизвольное, глубоко затаенное в самой природе человеческих обществ! И войны, и каждая война имеют так же, как и эпидемии, свои фазы и свои периоды”.

Далее, Пирогов придает первенствующее значение в военно-санитарном деле правильно организованной администрации. “Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны”. Кроме того, по мнению Пирогова, свойство ран, смертность и успехи лечения зависят преимущественно от различных свойств оружия и в особенности огнестрельных снарядов. Главной же целью хирургической и административной деятельности на театре войны должны быть не операции спешно произведенные, а правильно организованный уход за ранеными и сберегательное (консервативное) лечение в самом широком размере. Беспорядочное скучение раненых на перевязочных пунктах и в госпиталях есть самое главное зло, причиняющее впоследствии непоправимые бедствия и увеличивающее безмерно число жертв войны; поэтому главная задача полевых врачей и администраторов должна состоять в предупреждении этого скопления в самом начале войны. В этих видах хорошо организованная сортировка раненых на перевязочных пунктах и в военно-временных госпиталях есть главное средство для оказания правильной помощи. Рассеяние раненых и больных, вентиляция помещений в широком масштабе, а всего более отдельное и, если можно, одиночное размещение тяжелораненых, составляют наиболее верные средства против распространения травматических зараз. При этом этапы, питательные пункты и выдвижные лазареты принадлежат по преимуществу к области действий частной помощи, которая поэтому должна быть признана самым важным самостоятельным подспорьем в полевом санитарном деле.

Поездка Пирогова в Румынию и Болгарию на театр русско-турецкой войны была последним актом служения Пирогова своей родине. Труд его, посвященный этой войне, был его последним вкладом в науку.

В конце 1879 года Пирогов начал писать свои мемуары под

заглавием “Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой”. Дневник этот Пирогов вел с 5 ноября 1879 года до 22 октября 1881 года не особенно регулярно и иногда месяцами ничего не писал. Свои полные захватывающего интереса воспоминания на канве автобиографии Пирогов успел довести лишь до начала петербургской профессуры. Записки эти были после его смерти помещены в “Русской старине”, а потом составили первый том собрания его сочинений.

В 1881 году в Москве стали готовиться к юбилею Пирогова. Профессор хирургии Московского университета Н. В. Склифосовский отправился в имение Пирогова с приглашением от университета приехать на 24 мая в Москву. Не без труда удалось ему склонить знаменитого ученого на эту поездку.

Юбилейное торжество происходило в актовой зале университета.

Мы не станем, конечно, подробно описывать празднества. Упомянем только, что прежде всего была прочитана телеграмма от Государя, поздравлявшая маститого юбиляра с пятидесятилетним юбилеем его служения. Затем началось представление депутаций и чтение приветственных адресов и телеграмм. Со всех сторон были получены поздравления.

Все университеты России от Гельсингфорского до Новороссийского, все научные учреждения России и высшие правительственные органы, все больницы, клиники и иные лечебные заведения, все медицинские и врачебные общества, равно как и другие ученые общества, между прочим, юридическое, московское математическое – все эти институты прислали или своих представителей, или же приветственные телеграммы. Зарубежные университеты и ученые общества также поздравили русского хирурга. Мы назовем университеты Мюнхенский, Страсбургский, Падуанский и Эдинбургский, медицинские факультеты Парижа и Праги, немецкое хирургическое общество. Представители прессы поднесли особый адрес, в котором приветствовали в лице Пирогова “не только знаменитого ученого, но и честного публициста и общественного деятеля”. Русские евреи, которые Пирогову “обязаны сочувствием и помощью, как люди, как русские граждане и как евреи”, прислали в Москву несколько депутаций. Среди этой массы приветствий было даже приветствие закавказского муфтия. Город Москва поднес своему знаменитому уроженцу диплом почетного гражданина. По этому поводу Пирогов в своей ответной речи на все приветствия заметил, что высшая честь, какая только может

быть оказана человеку, – это признание его почетным гражданином его родины.

Юбилейное торжество было омрачено тем, что юбиляр был уже болен и на юбилее советовался с прибывшими в Москву хирургами. Дело в том, что уже в начале 1881 года у Пирогова на слизистой оболочке твердого нёба появились язвочки. В день празднования юбилея утром профессор Склифосовский первый осмотрел эти язвочки, высказался за их злокачественность и нашел необходимой немедленную операцию. 25 мая, кроме Склифосовского, его исследовали профессора-хирурги – харьковский Грубе и дерптский Валь. 26 мая состоялся консилиум из названных трех хирургов и профессора Эйхвальда. Все врачи были согласны относительно злокачественности язвочек и необходимости операции, и 27 мая Склифосовский и Эйхвальд объявили Пирогову решение консилиума. Пирогов упал духом. По совету домашних решено было немедленно ехать в Вену к Бильроту. Пирогов ехал совершенно убитый. В Киеве на станции его осматривал в вагоне его ученик профессор Караваев и старался его успокоить. Наконец, больной приехал в Вену, и Бильрот после тщательного исследования признал язвы доброкачественными, и Пирогов ожил.

– Ну, если вы мне это говорите, – произнес оживленно Пирогов, взяв за руки Бильрота, – то я успокаиваюсь.

Спокойствие Пирогова длилось, однако, недолго. Уже по возвращении домой он заметил, что язвочки не обладают склонностью к заживлению. Лето 1881 года он провел в Одессе на лимане, но и там чувствовал себя очень плохо. Пирогов медленно угасал. За 26 дней до смерти он в особой записке в несколько строк высказался о своей болезни и поставил свой собственный диагноз. Вот эти знаменательные последние строки Пирогова:

“Ни Склифосовский, Валь и Трубе, ни Бильрот не узнали у меня ulcus oris tem. muc.cancerosum serpeginosum.[8] *Иначе первые три не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную.*

1881 г, акт. 27. Пирогов”.

23 ноября 1881 года в 20.45 Николая Ивановича Пирогова не стало.

Память Н. И. Пирогова русские врачи почтили основанием в Петербурге “Русского хирургического общества Пирогова”, открытого в 1882 году, но учрежденного еще при жизни Николая Ивановича. Далее, с периодическими съездами русских врачей связано имя знаменитого хирурга, так как они называются “Съездами русских врачей в память Пирогова”. Наконец, в настоящее время открыта подписка на памятник Пирогову в

Москве.

Н. И. Пирогов занимает в истории русской медицины совершенно особое место как ученый, как профессор и как клиницист. Ни одно имя русского врача не может быть поставлено рядом с его именем. Несмотря на то, что Пирогов дал России лишь немногих профессоров хирургии, он создал в буквальном смысле этого слова школу хирургии в России. Не всякий университетский преподаватель, сумевший рассадить своих учеников по кафедрам, заслуживает почетного имени основателя научной школы. Пирогову же, бесспорно, принадлежит такое имя, потому что он выработал строго научное и рациональное направление в изучении клинической хирургии, положив в ее основу анатомию и экспериментальную хирургию. Русские хирурги, следуя по этому пути, могут in corpore составить одну хирургическую школу – школу Пирогова.

По духу и направлению своей педагогической деятельности он является вместе с тем одною из наиболее светлых личностей среди русских общественных деятелей XIX столетия.

Пирогов был прежде всего человек живого труда и честного дела. Это красною нитью проходит через всю его жизнь. Мы видели его в дерптской клинике скромным профессором маленького провинциального университета и вскоре затем – на кафедре госпитальной хирургии в Петербургской медико-хирургической академии, самым талантливым ее профессором и первым хирургом столицы. Мы видели его в полевом лазарете под Салтами, анестезирующим на поле сражения, и на перевязочном пункте осажденного Севастополя, оперирующим под неприятельским огнем. Мы видели его в Одессе и Киеве в плодотворной роли попечителя-миссионера, и за границей – в роли руководителя молодых ученых. Уже на закате его дней мы встретили его на театрах войн франко-прусской и русско-турецкой, осматривающим военно-санитарные учреждения. Везде и всегда он неизменно проявлял любовь к делу и знание дела; в каждое дело он вкладывал всю свою громадную энергию, всю свою великую душу. Неудивительно поэтому, что он всюду вносил что-либо новое, оригинальное и оставлял неизгладимый след своей широкой деятельности. Это новое касалось не каких-нибудь мелочей, а захватывало самую существенную сторону дела, потому что Пирогов вдумывался в каждое явление, в каждый факт, всесторонне обсуждал каждый вопрос с тонким анализом ученого, стараясь уяснить себе его в полном объеме.

В течение своей полувековой многосторонней деятельности Пирогов является перед нами как ученый, как профессор и клиницист-хирург, как военно-полевой хирург и администратор

и, наконец, как педагог, занимавший высокий пост попечителя двух учебных округов и позднее руководивший занятиями молодых ученых за границей.

Следуя старинному изречению: facta loquuntur, мы, описывая соответствующие моменты жизни и деятельности Пирогова, старались представить, как смотрел великий ученый на известную деятельность и как сообразно своим взглядам он действовал. У Пирогова теория с практикой не расходились между собой.

Мы позволим себе закончить наш краткий очерк жизни и деятельности Н. И. Пирогова теми поучительными словами, которыми заключил свою юбилейную речь проф. Н. О. Ковалевский:

“Пирогов не зарывал своего таланта в землю, он блестяще развил его, и если Россия не извлекла из его полувековой деятельности всей пользы, которую он мог принести ей своим знанием и способностями, то, сколько известно, едва ли сам Пирогов виноват в этом…”

ИСТОЧНИКИ

Материалом для составления настоящего биографического очерка послужили главным образом “Посмертные записки Н. И. Пирогова” (“Русская старина”, 1884, сент. – дек.; 1885, янв. – февр.). Но и в других его статьях как медицинского содержания, так в особенности и публицистического (Сочинения Н. И. Пирогова. СПб., 1887. Т. 2) мы находим много эпизодов и заметок, носящих автобиографический характер.

Кроме того, мы пользовались следующими источниками:

1. *Розанов.* Выписка из метрических книг о рождении Н. И. Пирогова. – “Русская старина”, 1881.

2. *Н. Тихонравов.* Николай Иванович Пирогов в Московском университете (1824–1828). Справки из документов университетского архива. Москва, 1881.

3. Album Academicum der Kaiserlichen Universitdt Dorpat. Bearbeitet von A. Hasselblatt und Dr. G. Otto.

4. *Л. Ф.Змеев.* Русские врачи-писатели. СПб., 1886–1887.

5. *BiographischesLexicon* der hervorragendsten Aerzte. (Биографическая заметка о Пирогове составлена проф. *L.Stieda,* бывшим проф. анатомии в Дерпте, ныне в Кенигсберге.)

6. *Л. Фробен.* О деятельности Н. И. Пирогова в Дерптском университете. Протоколы и труды Русского хирургического общества Пирогова за 1882–1883 гг. СПб., 1883; с. 133–150.

7. *Э. Каде.* Воспоминание о Н. И. Пирогове. (Ibidem, с. 74–98.)

8. *В.М. Флоринский.* Воспоминание о деятельности Н. И. Пирогова в Петербургской медико-хирургической академии. – Ученые записки Казанского университета. 1881.

9. *В. Я. Стоюнин.* Педагогические сочинения. СПб., 1892.

10. *К. Ушинский.* Педагогические сочинения Пирогова. – Журнал министерства народного просвещения. 1892.

11. *И. Острогорский.* Русские педагогические деятели. СПб., 1888.

12. *Л.Добров.* Воспоминания о Н. И. Пирогове: одесский период его деятельности. – “Русская старина”, 1885, июнь.

Наконец, ряд мелких статей и заметок о Н. И. Пирогове, разбросанных как в общей, так и в медицинской печати.

notes

Примечания

1

объект хирургического ножа *(фр.)*

2

“хорошей мыслью грешно не воспользоваться” *(фр.)*

3

“Пусть труба последнего суда протрубит, когда захочет; я предстану, с этой книгой в руке, перед высшим судьей. Я скажу во всеуслышание: вот что я делал, что думал, чем был” *(фр.)*

4

“большая голова – большая скотина” *(фр.)*

“государственный переворот” *(фр.)*

6

отделение тела *(фр.)*

сила инерции *(лат.)*

8

Ползучая раковая язва слизистой оболочки рта *(лат.)*